

А. А. ПОТЕБНЯ,

КАКЪ

ЯЗЫКОВЪДЪ-МЫСЛИТЕЛЬ.



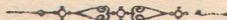
БІЛОС. № 221 від 1893 року

Д. Овсянико-Куликовского.

771



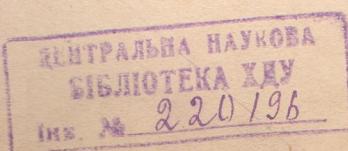
Оттискъ изъ Журнала „Киевская Старина“.



КІЕВЪ.

Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайл. ул. д. № 4.
1893.

46 9908



ВІДВАТОВ А. А.

біль

ЗАПРОГРЕС-МІЛЕНІУМ

Дозволено цензурою. Кіевъ, 13 сентября 1893 года.

ЗАПРОГРЕС-МІЛЕНІУМ

Однією з найважливіших відзнак є

Відмінна медаль від Академії Наук та Т. І. ліфаренса Т. І. ліфаренса

89
81 29

А. А. Потебня, какъ языковѣдъ-мыслитель.

Покойный профессоръ Харьковскаго Университета, Александръ Аѳанасьевичъ Потебня (+29 ноября 1891 г.) принадлежалъ къ числу первоклассныхъ ученыхъ нашего вѣка. Его капитальные труды (по діалектологіи, этимологіи, синтаксису русскаго языка и родственныхъ, а также по миѳологіи и народной поэзіи) давно уже оцѣнены по достоинству учеными специалистами и заняли выдающееся мѣсто въ науцѣ. Тѣмъ не менѣе однакоже истинное и непреходящее значеніе важнѣйшихъ трудовъ Потебни, ихъ глубокая философская основа, ихъ скрытый (подъ чрезмѣрно-сжатымъ изложеніемъ) смыслъ, указующій новые пути и открывающій далекія и грандіозныя перспективы мысли,—все это, къ сожалѣнію, еще недостаточно выяснено и не стало достояніемъ мыслящей части общества. Эта сторона хорошо известна лишь немногимъ ученымъ специалистамъ,—въ особенности же непосредственнымъ ученикамъ покойнаго профессора, которые были, такъ сказать, свидѣтелями самого процесса его ученаго творчества, такъ какъ многія изслѣдованія Потебни, прежде чѣмъ выйти въ свѣтъ, были прочитаны имъ въ рядѣ университетскихъ курсовъ, обставленныхъ всею роскошью живаго изложенія, нерѣдко достигавшаго высотъ настоящей художественности. И эти ученики покойнаго въ одинъ голосъ скажутъ намъ, что напр. известная книга, на заглавномъ листѣ которой напечатано: „Изъ записокъ по русской грамматикѣ. I. Введеніе. II. Составные члены предложений и ихъ замѣны. Составилъ А. Потебня“,—есть глубокій философскій трудъ.

А. А. Потебня, какъ языковѣдъ-мыслитель.

Покойный профессоръ Харьковскаго Университета, Александръ Аѳанасьевичъ Потебня (+29 ноября 1891 г.) принадлежалъ къ числу первоклассныхъ ученыхъ нашего вѣка. Его капитальные труды (по діалектології, этимології, синтаксису русскаго языка и родственныхъ, а также по миѳології и народной поэзії) давно уже оцѣнены по достоинству учеными специалистами и заняли выдающееся мѣсто въ науцѣ. Тѣмъ не менѣе однакоже истинное и непреходящее значеніе важнѣйшихъ трудовъ Потебни, ихъ глубокая философская основа, ихъ скрытый (подъ чрезмѣрно-сжатымъ изложеніемъ) смыслъ, указующій новые пути и открывающій далекія и грандіозныя перспективы мысли,—все это, къ сожалѣнію, еще недостаточно выяснено и не стало достояніемъ мыслящей части общества. Эта сторона хорошо известна лишь немногимъ ученымъ специалистамъ,—въ особенности же непосредственнымъ ученикамъ покойного профессора, которые были, такъ сказать, свидѣтелями самого процесса его ученаго творчества, такъ какъ многія изслѣдованія Потебни, прежде чѣмъ выйти въ свѣтъ, были прочитаны имъ въ рядѣ университетскихъ курсовъ, обставленныхъ всею роскошью живаго изложенія, нерѣдко достигавшаго высотъ настоящей художественности. И эти ученики покойного въ одинъ голосъ скажутъ намъ, что напр. известная книга, на заглавномъ листѣ которой напечатано: „Изъ записокъ по русской грамматикѣ. I Введеніе. II. Составные члены предложенийъ и ихъ замѣны. Составилъ А. Потебня“,—есть глубокій философскій трудъ.

Задавшись цѣлью положить въ общедоступной формѣ философскую сторону изслѣдований Потебни, пишущій эти строки далекъ отъ мысли исчерпать тему и будетъ считать свою задачу достигнутою, ежели ему удастся выяснить хотя-бы въ общихъ чертахъ сущность философско-психологическихъ воззрѣній на языкъ и значеніе сюда относящихся открытій покойнаго ученаго¹⁾.

I.

Въ тридцатилѣтней ученой дѣятельности Потебни можно различать два періода. Первый, образующій начало его карьеры, былъ наполненъ изученіемъ языка въ связи съ миѳомъ и разработкою философско-психологической теоріи языка, основанной на идеяхъ В. Гумбольдта и комментаріяхъ къ нимъ Штейнталя, а также на психологическихъ трудахъ Гербардта и Лотце. Въ этомъ періодѣ (1860—1865) Потебня является по преимуществу психологомъ и философомъ и обнаруживаетъ необыкновенный даръ анализа и обобщенія. Какъ лингвистъ, миѳологъ, психологъ, онъ уже тогда, не взирая на молодость, стоялъ на высотѣ современного знанія. Посвящая себя специально изученію языковъ славянскихъ, онъ въ то же время пріобрѣлъ со- лидная познанія въ санскритѣ, литовско-латышскомъ, герман- скихъ нарѣчіяхъ. Сравнительная Грамматика того времени (Боппъ, Поттъ, Бенфей, Кунъ, Шлейхеръ и др.), равно какъ и историческая школа Гrimма, были основаніемъ его лингвистической эрудиціи. Соединеніе этихъ двухъ направленій (сравнительного и исторического), какъ известно, составило силу науки сравнит. языковѣдѣнія, создало для нея незыблемо—прочный фундаментъ. Вотъ именно это соединеніе двухъ теченій и легло въ основу долгой и плодотворной дѣятельности Потебни во второмъ ея періодѣ (1865—1891). Въ эту эпоху онъ сперва работалъ преимущественно въ области діалектологіи и фонетики

1) Обозрѣніе всей дѣятельности А. Потебни, его характеристику, какъ ученаго, профессора и человѣка, оцѣнку его работъ и пр. читатель найдетъ въ статьяхъ гг. Ламанского, Будиловича, Халанского, Лапунова, Нетушила и др., собранныхъ частью пѣликомъ, частью въ извлеченіяхъ въ 4 томѣ „Сборника Харьковскаго Исто- рико-филолог. Общества“. (1892 г.).

русского языка и другихъ славянскихъ, широко пользуясь также данными и другихъ индоевропейскихъ языковъ. Изслѣдованія, сюда относящіяся, по богатству эрудиціи, совершенству метода, глубинѣ и вѣрности взгляда, являются капитальными произведеніями научной мысли и справедливо доставили ихъ автору одно изъ наиболѣе уважаемыхъ и авторитетныхъ именъ. Въ 1874 г. онъ выступаетъ съ классическимъ трудомъ по синтаксису („Изъ записокъ по русской грамматикѣ“, 2-е изд—1889 г.), вслѣдъ за которымъ послѣдовали новыя работы по этимологіи и фонетикѣ, по народной поэзіи, опять по синтаксису—вплоть до начала 90-хъ годовъ. Вся эта обширная дѣятельность не сходила съ философской почвы и представляла собою строго-логическое проведеніе цѣльного философскаго взгляда на языкъ въ его отношеніяхъ къ мысли. Тѣмъ не менѣе эта философская подкладка оставалась какъ-бы въ тѣни и не была оценена по достоинству. О ней знали только непосредственные ученики Потебни. Въ изслѣдованіяхъ этимологическихъ, фонетическихъ и т. д. она могла проявляться лишь изрѣдка и давала себя чувствовать весьма отдаленнымъ и косвеннымъ образомъ, гдѣ-нибудь въ замѣчаніи, брошенномъ мимоходомъ, въ той или иной постановкѣ специального вопроса, при чёмъ читателю приходилось самому извлекать философское основаніе этой постановки. Крайне скучай на слова, разъясненія, отступленія, Потебня писалъ въ родѣ того, какъ пишутъ математики. Оттуда между прочимъ и репутація Потебни, какъ ученаго „узкаго“, „крайняго специалиста“, чуть не „буквоѣда“, и незначительное распространеніе его идей даже въ той части публики, которая должна была бы знать его труды (филологи разныхъ специальностей, учителя русского языка, литераторы). Публика и не подозрѣвала, что авторъ „Къ исторіи звуковъ русского языка“ и другихъ специальныхъ и неудобочитаемыхъ книгъ и статей того же рода въ сущности и прежде всего—философъ съ очень широкимъ основаніемъ идей, воспитавшій свой умъ, щедро одаренный отъ природы, глубокимъ изученіемъ Канта, Гербардта, Б. Гумбольдта и др. и стоящій на высотѣ современной философской мысли вообще. Этой неизвѣстности Потебни, какъ мыс-

лителя, способствовало также и то, что специальные труды второго периода своею научною ценностью и авторитетностью заслонили его ранние работы (первого периода), въ особенности замечательный этюдъ „Мысль и языкъ“, напечатанный въ журналѣ Мин. Нар. Просв. въ 1862 г. (нынѣ переизданъ семьею покойного¹⁾). Этотъ этюдъ имѣлъ странную судьбу; онъ остался почти неизвестнымъ въ теченіе 30 лѣтъ даже ученымъ, слѣдившимъ за трудами Потебни; а между тѣмъ знакомство съ нимъ оказывается необходимымъ для полнаго пониманія важнейшихъ трудовъ Потебни—по синтаксису и народной поэзіи, а кромѣ того, оно могло бы оказать весьма благотворное вліяніе на правильную постановку некоторыхъ вопросовъ философскаго характера, представляющихъ извѣстный интересъ для всякаго образованнаго человѣка. Идеи, въ немъ выраженные, точки зрения, въ немъ установленные, легли въ основу всѣхъ послѣдующихъ трудовъ Потебни, въ особенности же—синтаксическихъ и по теоріи словесности (не изданныхъ, также какъ и продолженіе синтаксиса, оставшееся въ рукописи). Эти капитальные произведения предстаютъ собою осуществленіе на дѣлѣ того, что въ книжкѣ „Мысль и языкъ“ высказано—какъ общий взглядъ, какъ теоретическая постановка вопросовъ. Наша задача и будетъ состоять въ томъ, чтобы связать „Изъ записокъ по русской грамматикѣ“ съ этюдомъ „Мысль и языкъ“ и, показавъ, по мѣрѣ силы и умѣнія, что собственно доказалъ и открылъ Потебня, облегчить читателю—неспециалисту изученіе хотябы только важнейшихъ трудовъ покойнаго мыслителя.

II.

Въ основаніе лингвистическихъ изслѣдованій Потебни положена идея, сжатую формулу которой мы находимъ въ слѣдующихъ его словахъ, сказанныхъ 30 лѣтъ тому назадъ: „Показать на дѣлѣ участіе слова въ образованіи послѣдовательнаго ряда системъ, обнимающихъ отношенія личности къ природѣ, есть

¹⁾ „Мысль и языкъ“ А. Потебни. 2-е изд. съ портретомъ автора „Харьковъ 1892 г. (272 стр.) Всѣ цитаты изъ этого сочиненія сдѣланы по этому 2-му изданію.

основная задача исторіи языка; въ общихъ чертахъ мы вѣрно поймемъ значение этого участія, если принадли основное положение, что языкъ есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что онъ не отраженіе сложившагося міросозерцанія, а слагающая его дѣятельность". („Мысль и языкъ“, стр. 173). Основное положение, о которомъ говорится въ послѣднихъ строкахъ этого мѣста, принадлежитъ В. Гумбольдту, который училъ, что „die Sprache ist das bildende Organ des Denkens“. — Мы постараемся дать читателю общее понятіе о томъ, какъ развивалъ Потебня это положеніе въ своемъ раннемъ труде „Мысль и языкъ“, исходя изъ идей Гумбольдта и отчасти пользуясь первыми работами Штейнталя.

Прежде всего нужно разъяснить, что такое слово. Мы это сдѣлаемъ, если отдадимъ себѣ отчетъ, изъ какихъ элементовъ оно состоитъ. Въ ряду послѣднихъ на первомъ планѣ стоятъ слѣдующіе два: *звуковая форма* и *значеніе*. Безъ нихъ слово немыслимо. Отнимите отъ словъ *домъ*, *рыба*, *огонь*, *лошадь* и т. д. сочетаніе звуковъ, ихъ составляющихъ, и оставьте ихъ значенія,—и они перестанутъ быть словами, превратятся въ чистая понятія или представлія. И наоборотъ: лишенное своего значенія, слово перестаетъ быть словомъ и превращается, по выражению Потебни, въ „искусственный фонетической препарать“ (Изъ записокъ по русской грамм., стр. 1). Если будемъ имѣть въ виду только эти два элемента, то мы опредѣлимъ слово, какъ „единство членораздѣльного звука и значенія“. Это определеніе дѣйствительно пригодно для множества словъ въ родѣ выше-приведенныхъ *огонь*, *домъ*, *рыба* и т. д., хотя и не исчерпываетъ, какъ увидимъ въ свое время, всѣхъ ихъ свойствъ. Но во всѣхъ языкахъ, кромѣ подобныхъ словъ, существуетъ много словъ иного рода, въ которыхъ, кромѣ звука и значенія, усматривается еще третій элементъ. Таковы напр. у настъ—*молокососъ*, *подснѣжникъ*, *незабудка*, *удавъ* и другія живописныя слова, въ которыхъ, кромѣ значенія и звуковъ, мы ясно различаемъ известный, сознаваемый говорящимъ способъ изображенія данного значенія. Мы не знаемъ или не отдаемъ себѣ отчета, почему *домъ* называется „*домъ*“, и какъ этотъ предметъ изображенъ въ этомъ

словъ; напротивъ, называя известный цвѣтокъ *подснѣжникомъ*, или *незабудкою*, легкомысленнаго молодаго человѣка „*молокососомъ*“ (т. е. уподобляя его грудному ребенку), известную змѣю *удавомъ* и т. д., мы сознаемъ, что выдвигаемъ впередъ одинъ изъ действительныхъ или предполагаемыхъ *признаковъ* данныхъ понятій и на немъ строимъ весь образъ предмета, обозначенаго словомъ. Итакъ, кромѣ *звука* и *значенія*, здѣсь есть еще третій элементъ—*представленіе*. Оно сохраняется въ этихъ словахъ потому, что ближайшее этимологическое происхожденіе ихъ ясно для сознанія всякаго говорящаго на данномъ языке. Даже неграмотному очевидна связь слова *подснѣжникъ* съ *подъ* и *снѣгъ*, слова *удавъ* съ глаголомъ *давить* и т. д., и эта очевидность производитъ то, что предметъ черезъ посредство такого слова не просто „обозначается“, а рисуется въ умѣ со стороны одного изъ своихъ признаковъ. Формула подобныхъ словъ будетъ уже другая: „единство звука, значенія и представленія“. Отношеніе представленія къ значенію мы будемъ называть *внутреннею формою* слова въ противоположность *внѣшней*—звуковой. Отсюда слѣдуетъ, что слова, лишенныя представлений, какъ *домъ*, *огонь* и пр., въ то же время не имѣютъ и внутренней формы. Наличность послѣдней придаетъ слову нѣкоторый поэтическій или художественный характеръ; ея исчезновеніе дѣлаетъ слово прозаическимъ, превращая его *внѣшнюю форму*, его звуки, какъ-бы въ простой знакъ, „алгебраически“ указывающій на известное понятіе. Путемъ сравнительно-исторического изслѣдованія, наука весьма часто открываетъ въ такихъ „прозаическихъ“ словахъ слѣды ихъ прежняго поэтическаго характера, слѣды представлений, нѣкогда въ нихъ находившагося, потомъ забытаго. Такъ напр., у насъ слово *мыши*; а равно и отвѣчающія ему по значенію и корню—немецкое *Maus*, латинское *mus* и древнегреческое *μῶς*—представляются давнимъ-давно лишенными внутренней формы. Но *представленіе*, нѣкогда жившее въ этихъ словахъ, сохранилось въ соответственныхъ санскритскихъ *mūsh*, *mūshaka*, ибо ясна ихъ связь съ глаголомъ *mush*—красть, и въ нихъ мышь явственно изображена какъ *воръ*. Потеря внутренней формы есть процессъ высокой важности; какъ

уездимъ ниже, это своего рода творческая сила въ исторіи языка и мысли. Но ея дѣйствіе перекрещивается работою другой, также творческой силы, но противоположнаго характера—созданіемъ новыхъ словъ съ внутреннею формою. Приведенныя выше слова—*удавъ*, *подснѣжникъ*, *незабудка* и др. суть слова относительно новыя. Но помимо созданія такихъ новыхъ словъ, языкъ сплошь и рядомъ создаетъ новыя слова нѣсколько иного типа, примѣня старыя, съ забытой внутренней формою, для обозначенія новыхъ понятій. Традиціонное значеніе такого слова (напр. домъ—здание, жилище) становится знакомъ или представлениемъ другого значенія (домъ—семья). Сюда относятся всѣ метафоры, которыхъ такъ много во всѣхъ языкахъ.

На этомъ пунктѣ мы пока пріостановимъ анализъ элементовъ слова; представимъ себѣ, что въ словѣ ничего нѣтъ кроме звука, значенія и представлениія,—и постараемся прослѣдить его дѣятельность въ смыслѣ пружины, создающей нашу мысль.

Въ основаніи умственныхъ процессовъ лежать *чувственные восприятія*. Это тѣ впечатлѣнія, которыя мы получаемъ черезъ посредство органовъ чувствъ отъ окружающей насъ среды и отъ нашего собственнаго тѣла. Первоначально, напр. у ребенка въ раннемъ возрастѣ, эти восприятія совершенно хаотичны: подчиняясь общему закону *ассоціаціи*, они сочетаются между собою какъ-попало, не группируясь въ определенные и постоянные образы, такъ что воспринятый предметъ, напр. дерево, еще не отдѣляется отъ окружающей обстановки или отъ фона, напр. отъ собаки, лежащей подъ нимъ, отъ неба, на синевѣ которого оно вырисовывается. Какъ известно, полученные восприятія могутъ сохраняться въ безсознательномъ состояніи, выѣсненныя изъ поля сознанія другими, и потомъ вновь выплывать наружу, пробуждаться въ сознаніи. Это то, что называется *памятью*. Вновь получаемыя восприятія, въ силу все того же закона ассоціаціи, вступаютъ въ сочетаніе съ полученными раньше и сохранными памятью, и на этой почвѣ возникаетъ и развивается, все усложняясь, умственная дѣятельность, сначала пассивная, потомъ пріобрѣтающая все

большую активность. Самымъ пассивнымъ процессомъ должна быть признана та хаотическая ассоциація воспріятій, о которой мы только-что говорили. Это по преимуществу—ассоциація воспріятій, случайно связанныхъ въ пространствѣ (дерево на фонѣ неба, дерево и собака подъ нимъ), или полученныхъ одновременно (дерево и шумъ вѣтра). Уже менѣе пассивно то сочетаніе новыхъ воспріятій съ прежними, которое осуществляется въ силу ихъ сходства и внутренняго сродства, когда напр. новое воспріятіе дерева оживляетъ въ сознаніи прежнее воспріятіе такого же дерева, но при измѣненіи обстановки. По мѣрѣ того какъ измѣняются обстановка и фонъ (прежде была собака подъ деревомъ, теперь ея нѣтъ тамъ, прежде небо было безоблачно, теперь оно покрыто тучами и т. д.), а между тѣмъ дерево остается то же, вызывая въ сознаніи воспріятія, полученные отъ него раньше,—въ дѣятельности развивается дѣятельность уже отличная отъ простой, такъ сказать, механической ассоциаціи: въ этой новой дѣятельности мы различаемъ *слияне* сходныхъ и неизмѣнныхъ воспріятій (дерева) воедино и *устраненіе* величинъ перемѣнныхъ (неба, собаки), чѣмъ и полагается первое основаніе *единству образа* (дерева). Здѣсь же усматриваются первые проблески умственного процесса высокой важности,—такъ называемой *апперцепціи*, т. е. такого сочетанія представлений, при которомъ вновь полученное нѣкоторымъ образомъ объясняется прежними. Такъ, въ нашемъ примѣрѣ новое воспріятіе дерева при другой обстановкѣ и на иномъ фонѣ, сочетаясь съ прежнимъ воспріятіемъ дерева, находитъ въ этомъ сочетаніи свою истинную классификацію, свое истолкованіе. Но это пока только проблески, только возможность или подготовка апперцепціи. Настоящая апперцепція есть процессъ уже активный, а не пассивный; она должна быть одухотворена извѣстной долею сознательности. Вотъ именно этотъ переходъ отъ пассивности умственныхъ процессовъ къ ихъ активности, къ ихъ сознательности осуществляется не иначе, какъ при участіи слова.

Первоисточникъ слова есть *рефлексивный звукъ*, частью подражательный, частью „междометного“ характера. „Языкъ“

дѣтей первоначально состоить изъ такихъ непроизвольныхъ звуковъ, сопровождающихъ воспріятія и механически съ ними сочетающихся. Когда это сочетаніе установится, и ребенокъ привыкнетъ связывать извѣстные звуки съ извѣстными образами („му“ съ коровой, „жижа“ съ огнемъ и т. д.), тогда рефлективный звукъ перестаетъ быть рефлективнымъ и становится сознательнымъ *орудиемъ апперцепціи*. Благодаря ему, осуществляется настоящая апперцепція. Предположимъ, ребенокъ при видѣ дерева привыкъ произносить какой-нибудь слогъ. Всякое новое воспріятіе дерева будетъ сопровождаться у него тѣмъ же слогомъ, который съ каждымъ разомъ все тѣснѣе будетъ сростаться съ образомъ дерева, все болѣе очищающимся отъ постороннихъ примѣсей (обстановки и фона). Такое сростаніе данного слога съ даннымъ образомъ способствуетъ скорѣйшему его очищенію и объединенію. И когда въ хаосѣ вновь полученныхъ воспріятій ребенокъ вдругъ откроетъ присутствіе дерева и произнесетъ привычный слогъ, то въ этомъ актѣ рѣчи осуществляется первая сознательная апперцепція дерева. Данный слогъ уже не будетъ рефлективнымъ звукомъ, онъ явится въ качествѣ настоящаго слова съ опредѣленнымъ значеніемъ, и его произнесеніе будетъ актомъ сознанія, что предметъ (дерево) узнанъ, схваченъ мыслью въ его отдѣльности, что онъ *апперцепированъ*. Возьмемъ еще примеръ. Если ребенокъ, еще не апперцепировавшій солнца, уже апперцепировалъ при помощи слова „жижа“ огонь (лампы, камина), то онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи готовое орудіе и для апперцепціи солнца: онъ назоветъ и солнце „жижою“. Въ этомъ дѣтскомъ словѣ будетъ заключено цѣлое *сужденіе*, которое можно развернуть такъ: то, что я теперь вижу (солнце), есть нечто такое или то самое, что раньше я называлъ „жижа“ (огонь). Иначе: образъ огня, уже ассоцірованный со словомъ жижа и составившій его *значеніе*, сталъ теперь *знакомъ* или *представленіемъ* другого значенія, другого образа (солнца). Создается слово съ *внутреннею формою*, и актъ его созданія есть въ то же время актъ *апперцепціи нового образа*.

Такія примитивныя сужденія образууть основаніе всего нашего умственного развитія. Это уже активная и творческая работа мысли: апперцепція и сравненіе. Ими, этими словами-сужденіями, ребенокъ впервые сравниваетъ, осмысливаетъ, классифицируетъ и обобщаетъ материалъ воспріятій, постоянно притекающей извнѣ. Вся эта работа мысли имѣеть своимъ результатомъ образованіе тѣхъ обобщенныхъ схемъ, которые называются *понятіями*. Итакъ, примитивныя слова-сужденія предшествуютъ образованію понятій, и послѣднія безъ первыхъ были бы невозможны. Безъ участія слова возможны только тѣ несовершенныя и эмбріональныя понятія, какія наблюдаются у высшихъ животныхъ и очевидно достигаются у нихъ силами болѣе пассивныхъ и несознательныхъ процессовъ ассоціаціи по сходству, неосмысленныхъ дѣятельностью языка.¹⁾.

Въ дѣлѣ образованія понятій участвуютъ различныя свойства слова; но могущественнѣе другихъ дѣйствуетъ здѣсь то, которое выше мы назвали *забвеніемъ внутренней формы*. Отрѣшившись на мигъ отъ нашей развитой мысли, орудующей *понятіями*, представимъ себѣ умственные процессы до образованія этихъ послѣднихъ и постараемся вникнуть въ творческую работу тѣхъ *словъ-сужденій*, о которыхъ была рѣчь выше, со *значеніемъ* въ роли подлежащаго и *представленіемъ* въ роли сказуемаго. Пока внутренняя форма такого слова-сужденія еще жива и осязательна, пока его представленіе не забыто, оно является весьма несовершеннымъ орудіемъ образованія понятія. Возьмемъ примѣръ. Слово *трава* происходитъ отъ корня, который значилъ *псть*, и первоначально имѣло значеніе *пиши*, *снѣди*. Это значеніе, перенесенное на траву, стало представлениемъ новаго значенія, и слово-сужденіе „трава“ имѣло такой смыслъ: то, что я вижу и что имѣеть такіе-то признаки (зелено, ростеть, вянеть и пр.), есть пища. Пока сохранялась въ

¹⁾ Глухонѣмы не составляютъ исключенія: у нихъ есть свой языкъ, только не звуковой, а „графический“ (жесты, а при известной выучкѣ движение губъ и начертанія буквъ). Относительная слабость умственныхъ процессовъ у глухонѣмыхъ состоить въ очевидной связи съ несовершенствомъ ихъ языка сравнительно съ языкомъ звуковымъ.

сознаніи внутренняя форма этого слова, въ его значеніе могли входить только такие признаки, которые не противорѣчили представлению. Потому всякая трава, негодная для употребленія въ пищу, исключалась изъ сферы сужденій, допускаемыхъ внутренней формою данного слова. Съ тѣмъ вмѣстѣ многія определенія, относящіяся къ травѣ, какъ таковой (въ нашемъ смыслѣ), а не какъ къ предмету пищи, представлялись случайными и не характерными для „травы“. „Трава зелена“ — это не важно, а важно то, что ее можно употребить въ пищу. Чтобы различные признаки травы выступили наружу и сгруппировались въ понятіи травы, необходимо было сперва забыть, что собственно значитъ слово „трава“, устранивъ представление „пищи“, въ немъ заключенное, т. е. его внутреннюю форму. Забвеніе послѣдней осуществляется постепенно, по мѣрѣ того какъ возникаютъ различныя сужденія, которыхъ сказуемая выведены не изъ внутренней формы, а изъ значенія, напр. „трава ростетъ“, „трава зелена“, „трава пахнетъ“ и т. д. Въ такихъ сужденіяхъ сказуемая указываетъ на признаки, входящіе въ составъ значенія слова (трава) и независимые отъ его представлениія (пищи). Нетрудно понять, что при частомъ повтореніи этихъ сужденій съ теченіемъ времени затеривается или стушевывается тотъ признакъ, который былъ связанъ съ внутреннею формою слова, и мысль все чаще и настойчивѣе обращается къ другимъ признакамъ, характернымъ для самой вещи и рисующимъ ее независимо отъ ея свойства служить пищею. „Чѣмъ больше различныхъ сказуемыхъ“, говоритъ Потебня, „перебывало при словѣ *трава*, тѣмъ на большее количество сужденій разлагается до того нераздѣльный образъ травы. Субстанція травы, очищаясь отъ всего посторонняго, вмѣстѣ съ тѣмъ обогащается атрибутами“ („Мысль и Языкъ“, стр. 160).

Это „обогащеніе субстанціи атрибутами“ есть образованіе понятія.

Субстанція въ свою очередь есть *понятіе* и — очень абстрактное; но въ этомъ видѣ она является, конечно, не въ начальномъ образованіи понятій, а въ концѣ, какъ своего рода философскій экстрактъ изъ нихъ. Въ данномъ случаѣ Потебня

имѣлъ въ виду не эту позднюю и высшую степень отвлечения, а то зерно, тотъ эмбріонъ „субстанції“, который усматривается въ самомъ началѣ процесса развитія различныхъ понятій. Вотъ именно этотъ эмбріонъ „субстанції“, необходимый для образования всякаго понятія (травы, дома, огня и т. д.), есть *даръ языка*. Возьмемъ опять въ примѣръ ребенка, который называется огонь „жига“. По мѣрѣ того, какъ онъ послѣдовательно переноситъ это слово-сужденіе отъ лампы къ камину, къ зажженной спичкѣ, къ солнцу и т. д., въ его душѣ постепенно отлагается и крѣпнетъ впечатлѣніе противоположности между всѣми этими перемѣнными величинами и неизмѣнностью слова и связанного съ нимъ представлѣнія, одинаково прилагаемыхъ ко всѣмъ имъ. Ощущеніе этой противоположности и есть первый шагъ къ „созданію категоріи субстанції, вещи самой въ себѣ“ („Мысль и Языкъ“, 152). Этотъ процессъ Потебня называетъ также процессомъ созданія *общности образа*. Обозначая различная проявленія огня (въ каминѣ, лампѣ, солнцѣ) однимъ и тѣмъ же словомъ „жига“, всякий разъ мысля представлѣніе, связанное съ нимъ, ребенокъ обобщаетъ образъ, и этимъ обобщеніемъ вызывается въ душѣ предрасположеніе противополагать различнымъ формамъ вещи ея неизмѣнную субстанцію.

Подводя итогъ всему вышесказанному о роли слова въ процессѣ образованія нашей мысли, мы получимъ слѣдующія положенія

- 1) Слову предшествуютъ рефлексивные членораздѣльные звуки, связанные съ чувственными воспріятіями.
- 2) Ассоциируясь съ группами воспріятій, эти звуки становятся ихъ знаками и превращаются въ слова.
- 3) Слово является орудіемъ *объединенія образа* (отдѣленія его отъ фона и другихъ постороннихъ примѣсей).
- 4) Оно служитъ средствомъ созданія *общности образа* и кладетъ основаніе категоріи *субстанціи*.
- 5) Оно, въ формѣ сужденій, является средствомъ *разложения образа на его признаки*, что ведеть, вмѣстѣ съ сознаніемъ его общности, къ образованію понятій.

Къ этимъ пяти положеніямъ прибавимъ еще одно, прямо изъ нихъ вытекающее:

6) Слово есть по преимуществу орудіе познанія и самознанія.

Знаніе есть апперцепція понятіями, більше или менше правильними и широкими, явленій об'єктивного міра. Понятія созидаються, какъ мы видѣли, силою слова, и сами по себѣ, въ своемъ, такъ сказать, необработанномъ, природномъ видѣ, образуютъ основы познанія вещей. Переработанныя, культивированная критическою мыслью, они превращаются въ знаніе научное и философское. „Путь наукѣ“, говоритъ Потебня, „уготовляется словомъ“ („Мысль и Языкъ“, 164).

Самознаніе есть апперцепція понятіями, більше или менше широкими и правильными, явленій міра суб'єктивного. Оно развивается какъ прямое послѣдствіе знанія вообще, ибо послѣднее, обогащая мысль субъекта, увеличиваетъ ея енергію, ея тяжесть, силу ея давленія, и человѣкъ невольно привыкаетъ обращать взоръ внутрь себя, подслушивать и оцѣнивать свои собственныя мысли и чувства, сознавать себя.

До сихъ поръ мы рассматривали дѣятельность языка, направленную на создание мысли, въ періодъ, когда онъ самъ еще находился въ процессѣ развитія, напр. у ребенка или въ первобытномъ человѣчествѣ. Но и по истеченіи этого періода, какъ въ жизни ребенка, такъ и въ истории человѣчества, творчество языка не прекращается. Языкъ никогда не стоитъ на одномъ мѣстѣ,—онъ движется, развивается, создаетъ все новыя и совершеннѣйшія формы мысли. Съ тѣмъ вмѣстѣ измѣняется и самая мысль. Органическая теорія языка, такъ долго господствовавшая въ наукѣ, не могла проникнуть въ эту связь развивающейся мысли съ развивающимся языкомъ. Оттого-то она превратно понимала историческую эволюцію самого языка. Шлейхеръ училъ, что творческий періодъ въ языкѣ закончился задолго до начала исторической жизни человѣчества, и послѣднее вступило въ зрѣлый возрастъ—уже обладая готовымъ языкомъ, развитымъ организмомъ рѣчи, которому уже некуда было итти дальше и оставалось одно—разлагаться. Такъ образомъ вся послѣдующая исторія языка представлялась его постепенною смертью, процессомъ разложения, шедшимъ въ ногу

съ прогрессивнымъ развитіемъ мысли. Этотъ разлагающійся трупъ оказывался однажды по своему *жизыимъ*: говорили о жизни языка, о его органическомъ ростѣ; о его живой дѣятельности, какъ средства передачи мысли. Органическая теорія запуталась въ своихъ внутреннихъ противорѣчіяхъ, изъ коихъ нѣтъ выхода.

Если мы, вслѣдъ за Гумбольдтомъ, вникнемъ глубже въ роль языка, какъ средства передачи мысли, и вмѣстѣ въ исторію новыхъ языковъ, то увидимъ, что тутъ опять-таки скрывается нѣкоторое творчество, чѣмъ и здѣсь языкъ продолжаетъ быть орудіемъ созданія или дальнѣйшаго развитія мысли. Изученіе живыхъ языковъ (германскихъ, славянскихъ, романскихъ и др.) открыло признаки прогрессивнаго движенія въ ихъ эволюціи и все настойчивѣе заставляетъ насъ думать, что есть какая-то связь между этой эволюціей новыхъ языковъ и развитіемъ мыслительной энергіи передовыхъ народовъ земного шара. Громадная заслуга Потебни состоитъ въ томъ, что онъ доказалъ существованіе этой связи и сдѣлалъ очевиднымъ, что творческая работа языка по отношенію къ мысли не прекратилась, а только вступила въ другой фазисъ.

В. Гумбольдтъ поставилъ вопросъ: что значитъ говорить и *понимать*? Отвѣтъ, данный имъ-же, заключенъ въ двухъ знаменитыхъ формулахъ 1): *говорить* значитъ связывать свое индивидуальное мышленіе съ общимъ мышленіемъ народа и 2) всякое пониманіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ непониманіе.

Вторую формулу Потебня разъясняетъ слѣдующимъ образомъ: „... субъективное содержаніе мысли говорящаго и мысли понимающаго всегда различно, хотя это различіе обыкновенно замѣчается только при явныхъ недоразумѣніяхъ,... но можетъ быть сознано и при такъ называемомъ полномъ пониманіи. Мысли говорящаго и понимающаго сходятся между собою только въ словѣ... Говоря словами Гумбольдта, никто не думаетъ при известномъ словѣ именно того, чѣмъ другой, и это будетъ понятно, если сообразимъ, что даже тогда, когда непониманіе повидимому невозможно, когда напр. оба собесѣдника видятъ передъ собою предметъ, о которомъ рѣчь, что даже тогда каждый въ буквальномъ смыслѣ смотритъ на предметъ съ своей точки зрѣ-

и видитъ его своими глазами. Полученное этимъ путемъ различіе въ чувственныхъ образахъ предмета, зависящее отъ вѣшніхъ условій (различія точекъ зрѣнія и устройства организма), увеличивается въ сильнѣйшей степени отъ того, что новый образъ въ каждой душѣ застаетъ другое сочетаніе прежнихъ воспріятій, другія чувства, и въ каждой душѣ образуетъ другія комбинаціи. Поэтому всякое пониманіе есть вмѣстѣ непониманіе, всякое согласіе въ мысляхъ—вмѣстѣ несогласіе. („Мысль и Языкъ“, 133—134).

Изъ такой постановки вопроса само собою вытекаетъ слѣдующее. Мысль говорящаго никоимъ образомъ не можетъ перейти въ сознаніе слушающаго цѣликомъ, со всѣмъ аппаратомъ сопутствующихъ ей представлѣній и съ тѣмъ именно способомъ ихъ сочетанія, какой имѣлъ мѣсто въ сознаніи говорящаго. Слова, сказанныя однимъ, только зажигаютъ мысль другаго. Послѣдняя, черезъ посредство услышанныхъ словъ, только настраивается на извѣстный ладъ и начинаетъ сама работать въ данномъ направленіи. Въ результатѣ получаются два процесса мысли, движимой языкомъ, изъ коихъ второй есть воспроизведеніе перваго, но не пассивное, а активное, не снимокъ съ него, не простое его отраженіе, какъ въ зеркаль, а его переработка сообразно силамъ и средствамъ, какія имѣются въ распоряженіи слушающаго. Здѣсь мы имѣемъ одно изъ оснований того положенія, которое Потебня въ своихъ лекціяхъ (и отчасти въ сочиненіяхъ) широко развивалъ, распространяя его, со свойственною ему силою обобщенія, на различные сферы психической жизни, между прочимъ примѣнія его къ вопросу о *займствованіяхъ* въ языке, въ народной поэзіи, въ искусствѣ, литературѣ, наукѣ. Онъ училъ, что *займствованіе* напр. иностранного слова, литературной формы, научныхъ приемовъ и т. д. есть *особый родъ творчества*.

Теперь отъ процесса пониманія перейдемъ къ процессу *речи*.

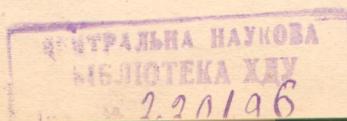
Говорить-ли человѣкъ, пишетъ-ли, или молча думаетъ,— во всякомъ случаѣ онъ орудуетъ *словами*; ими онъ схватываетъ и апперцепируетъ всякое вновь возникающее въ его умѣ представление или понятіе. Это представление или понятіе какъ бы

воплощается, объективируется въ словѣ и оттого получаетъ для самого говорящаго (или думающаго) большую наглядность, осознательность, осмысленность. Процессъ мышленія сводится къ различного рода группировкѣ понятій и представлений. Слова суть тѣ же понятія и представлениа, но только связанныя съ членораздѣльными звуками или—при молчаливомъ мышленіи—съ ихъ представлениями, обыкновенно сопровождаемыми беззвучной артикуляціей. Орудия словами, человѣкъ облегчаетъ себѣ процессъ мышленія, уже въ силу того, что соблюденіе пріобрѣтенныхъ привычекъ всегда помогаетъ мыслить, какова бы ни была эта привычка—курение-ли, игра-ли пальцами, жесты, или мускульные движения въ лицѣ; самой закоренѣлой привычкой является, конечно, артикуляція языка, все равно звучная, или беззвучная. Но этого мало: языкъ создаетъ ту національную и личную атмосферу или стихію мышленія, въ которой индивидуальному уму особенно удобно и привольно вращаться. Человѣкъ всегда мыслитъ силами и средствами опредѣленнаго языка: французъ—французскаго, немецъ—немецкаго и т. д. Взглянемъ ближе на отношеніе чечеловѣка къ этой стихіи рѣчи—мысли.

Слова, которыя вы употребляете, чтобы говорить и мыслить, не вами созданы; не вы вложили въ нихъ извѣстныя значенія, сочетали ихъ съ извѣстными понятіями. Все это представляется даннымъ вамъ, какъ готовое, и вы, повидимому, только пользуетесь этимъ материаломъ для своихъ цѣлей. Но такъ какъ у васъ, въ силу особенностей вашей индивидуальности и личной исторіи, съ этими словами соединены такие оттѣнки и видоизмененія представлений и понятій, какихъ нѣтъ у другаго, то всякое ваше слово будетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ новымъ соображеніемъ. Настоящая, подлинная „жизнь“ языка осуществляется въ его утилизациіи индивидуумомъ и слагается изъ совокупности всѣхъ отдѣльныхъ актовъ рѣчи. Поэтому настоящее, живое слово это то, которое вы только-что сказали, подумали, написали. Употребленное другимъ, это слово будетъ уже другое; оно-же, употребленное вами въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, будетъ опять инымъ. Такимъ образомъ, существуетъ столько словъ *домъ, огонь, небо* и т. д., сколько разъ

были употреблены въ рѣчи. Ибо слово не есть *вещь*, которую пользуется одинъ, потомъ другой, и которая остается все тою-же вещью. Рѣчь есть процессъ психіи, и слово—это отдельный актъ мысли. Поэтому тѣ слова, которые проставлены въ словаряхъ, не суть настоящія слова, а только ихъ обобщенія, отвлеченные схемы отдельныхъ актовъ мысли. И то, что я выше говорилъ о *готовыхъ* словахъ, которые *даны* говорящему и которые онъ употребляетъ по своему, нужно понимать такъ: были миллионы актовъ мысли (миллионы словъ „домъ“, словъ „огонь“ и т. д.), къ этимъ миллионамъ я прибавляю еще одинъ лишній актъ (говоря „домъ“, употребляя слово „огонь“); были миллиарды оттѣнковъ, къ которымъ я присоединяю еще одинъ. Эти оттѣнки, такъ нечувствительны, что ихъ результаты могутъ быть замѣчены только по истеченіи большого периода времени. Для сознанія говорящаго эти измѣненія незамѣтны. Онъ и не подозрѣваетъ, что въ процессѣ своей рѣчи создаетъ по каплямъ новыя представлениія, новыя значенія. Онъ не подозрѣваетъ, что, говоря, *присоединяетъ свою индивидуальную работу мысли къ муравьиной работе миллионовъ*, строить дальше зданіе, воздвигавшееся многими поколѣніями, ростущее вѣками. Но то, что скрыто отъ сознанія самихъ муравьевъ, открывается постороннему наблюдателю. Геніальнымъ взмахомъ мысли В. Гумбольдтъ предугадалъ истину, опредѣливъ процессъ рѣчи выше-приведенной формулой: „говорить значитъ связывать свое индивидуальное мышленіе съ общимъ мышленіемъ народа и человѣчества“. Теперь, послѣ изслѣдований Потебни, мы можемъ эту формулу видоизмѣнить такъ: говорить значитъ актомъ своего индивидуального мышленія прибавлять микроскопическія измѣненія къ тѣмъ, которые уже накопились миллиардами предшествовавшихъ актовъ мысли.

Сравнительная исторія языка и есть та наука, которая призвана изслѣдовать этими вѣками обнаруживающіяся метаморфозы языка, оцѣнивать ихъ результаты и такимъ образомъ изучать эволюцію мысли человѣческой. Эту грандіозную задачу и преслѣдовалъ Потебня въ своихъ синтаксическихъ изысканіяхъ въ которыхъ мы теперь и обратимся.



III.

Предметомъ своихъ специальныхъ изслѣдований въ области синтаксиса русскаго языка Потебня избралъ вопросъ о „составныхъ членахъ предложенія и ихъ замѣнахъ“. Этому замѣчательному труду, пролагающему новые пути наукѣ, онъ предпослалъ большое „Введеніе“, само по себѣ составляющее трудъ классической. По своему содержанію, оно непосредственно примыкаетъ къ этюду „Мысль и Языкъ“, съ которымъ мы имѣли дѣло до сихъ поръ, и заключаетъ въ себѣ сжатое изложеніе основныхъ и общихъ вопросовъ Языкоznанія. Здѣсь разъясняется, что такое слово, что такая грамматическая форма вообще и ея различныя категоріи въ частности, что такое предложеніе и его части.

Намъ необходимо теперь познакомиться съ важнейшими положеніями, здѣсь установленными, въ особенности съ тѣми, которыя относятся къ понятію *грамматической формы и члена предложения*.

Определеніе слова, данное выше („единство членораздѣльнаго звука, значенія и представлениія“) годится только для языковъ простѣйшаго строенія, не имѣющихъ грамматическихъ формъ (каковъ напр. китайскій). Но для языковъ флексивныхъ, т. с. имѣющихъ грамматическій строй, оно недостаточно, потому что въ такомъ языкѣ всякое слово, кроме звука, значенія и представлениія, заключаетъ въ себѣ еще нечто, именно *формальное или грамматическое значение*. Говоря напр. „верста“, я совершаю *актъ мысли*, въ которомъ соединяю со звуками *верста* понятіе напр. о 500-саженномъ разстояніи и еще сознаніе того, что это есть *существительное женскаго рода единственного числа въ именит. падежѣ*. Такое сознаніе присуще не только человѣку, учившемуся грамматикѣ, но и всякому безграмотному, съ тою лишь разницей, что послѣдній, не зная терминовъ, не можетъ осмыслить и выразить это свое грамматическое сознаніе. Тѣмъ не менѣе и для него, какъ и для настѣ, учившихся, вполнѣ ощутительна не только лексическая, но и грамматическая разница между *верста* и *верстовой*, *постройкой* и *строить*, *говорю* и *разговарѣ* и т. д.

Понятіе „500 сажень“, а равно и другія, прежде соединявшіяся съ тѣмъ же звуковымъ комплексомъ *верста* (возрастъ: отъ млады версты, юнъ верстою, откуда *сверстникъ*; пара, ровня: божественная и свѣтозарная вѣрста Борисе и Глѣбе, — „Изъ зап. по рус. грам. 21—3) составляютъ лексическая или вещественныя значенія слова *верста* или точнѣе различныхъ однозвучныхъ словъ „верста“. Свойство тѣхъ же словъ быть существ. жен. р. ед. ч. и т. д. образуетъ ихъ грамматическое или формальное значеніе. Послѣднее по отношенію къ первому есть своего рода *представленіе*. Въ своей грамматической категоріи *верста* представлена какъ существо жен. рода. Такія представленія были живы на раннихъ ступеняхъ мысли, когда вещи понимались какъ живыя существа, а равно и позже, когда такое пониманіе стало *фикціею*, но — фикціею, еще живо затрагивавшую мысль, такъ что представленія, вызывавшіяся грамматическою формою, напр. женскимъ родомъ, множеств. числомъ и пр., еще воспринимались сознаніемъ въ качествѣ извѣстнаго способа пониманія вещей, точки зрѣнія на нихъ. Съ теченіемъ времени и это значеніе (для мысли) грамматической формы блекнетъ, представлениe, въ ней нѣкогда заключавшееся, стирается, и она остается только какъ *форма*. Всѣ мы хорошо знаемъ, что *верста* — сущ. жен. рода, а *домъ* — сущ. муж. р., но въ насъ эти грамматические признаки не вызываютъ никакого живаго представления, которое бы подсказывало намъ извѣстный способъ пониманія этихъ вещей, устанавливало бы извѣстную точку зрѣнія на нихъ. Мы не знаемъ и не интересуемся знать, почему *домъ* — муж. рода, а *верста* — жен., а не наоборотъ. Разница между чисто-формальнымъ значеніемъ грамматической формы и ея былымъ значеніемъ живаго представления можетъ быть ощутима, когда мы, съ поэтическими или риторическими цѣлями, оживляемъ умершее представлениe, нѣкогда жившее въ данной формѣ, или вкладываемъ въ нее новое, напр. „Природа, какъ любвеобильная мать, питаетъ тварей“; здѣсь *уже* самый женскій родъ слова „пророда“ имѣетъ значеніе живаго представления; напротивъ, въ выраженіи „изслѣдователь живленій природы“ этотъ женскій родъ не имѣеть уже ровно

никакого значенія, и эффеќтъ фразы былъ бы тотъ же и при муж. или сред. родѣ.

Забвение живыхъ представлений, нѣкогда связывающихся съ грамматическими формами, играетъ ту же благодѣтельную роль въ развитіи мышленія, какую выше мы приписали забвению внутренней формы словъ въ процессѣ образованія понятій. Исчезновеніе живаго признака въ грамматической категоріи есть превращеніе прежней вѣры или убѣжденія въ фикцію, которая въ свою очередь все болѣе блѣднѣєть. Пока человѣкъ живо и наглядно представлялъ себѣ черты, подсказываемыя грамматическою формою слова, онъ тратилъ на одинъ актъ мысли гораздо больше умственной энергіи и времени, чѣмъ теперь, когда онъ ихъ не мыслитъ въ ихъ отдѣльности, а только пассивно воспринимаетъ ихъ знаки, какъ фикцію. Говоря лошадь, истина, востокъ, заря, я уже не обременяю своей мысли представлениемъ лошади непремѣнно въ жен. родѣ (я включаю въ среду значенія этого слова и жеребцовъ)—истины и зори—какъ существъ съ конкретными атрибутами, востока—какъ живаго дѣятеля муж. пола. Вся эта, необходимая въ глубокой древности, нынѣ излишняя, затрата мыслительной энергіи устранина, примѣрно такъ какъ въ математикѣ иксы, греки и другие знаки избавляютъ ученаго отъ лишней затраты времени и мысли, неизбѣжной при употреблениі терминовъ болѣе „полновѣсныхъ“, которые своей словесной содержательностью (напр. „неизвѣстная величина“ вместо х) задерживали бы движение мысли.—Энергія мысли, освобожденная отъ необходимости затрачиваться на мышленіе самой грамматической формы, устремляется въ другія сферы, затрачивается болѣе производительно на выработку новыхъ точекъ зрѣнія или приемовъ мышленія.

,Моменты вещественный и формальный“—говорить Потебня—„различны для нась не тогда, когда говоримъ, а лишь тогда, когда дѣлаемъ слово предметомъ наблюденія. На мышленіе грамматической формы, какъ бы она ни была многосложна, затрачиваемъ такъ мало новой силы, кромѣ той, какая нужна для мышленія лексического содержанія, что содержаніе это и грамматическая форма составляютъ какъ бы одинъ актъ мысли, а не

два или болѣе, и живутъ въ сознаніи говорящаго, какъ недѣлимая единица. Говорить на формальномъ языкѣ, каковы арійскіе¹⁾, значитъ систематизировать свою мысль, распредѣляя ее по извѣстнымъ отдѣламъ. Эта перворачальная классификація образовъ и понятій, служащая основаніемъ позднѣйшей умышленной и критической, не обходится намъ, при пользованіи формальнымъ языкомъ, почти ни во что. По этому свойству сберегать силу, арійскіе языки суть весьма совершенное орудіе умственного развитія: остатокъ силы, сбереженной словомъ, неизбѣжно находитъ себѣ другое примѣненіе, усиливая наше стремленіе возвыситься надъ ближайшимъ содержаніемъ слова. Нашъ ребенокъ, дошедшій до правильного употребленія грамматическихъ формъ, при всей скучности вещественнаго содержанія своей мысли, въ нѣкоторомъ отношеніи имѣетъ преимущество передъ философомъ, который пользуется однимъ изъ языковъ, менѣе удобныхъ для мысли". („Изъ записокъ по русской грамм.“ 2, стр. 27).

Изъ приведенного мыста между прочимъ видно, что грамматическія категоріи вообще и такъ-назыв. части речи въ особенности должны быть рассматриваемы какъ рубрики, по которымъ классифицируются наши представленія, или—точнѣе—какъ раздѣльные акты мысли, производящіе такую классификацію. Сущность процесса состоить въ томъ, что, принимая наши впечатлѣнія (воспріятія) за признаки самихъ вещей, мы смотримъ на эти признаки съ различныхъ точекъ зрѣнія, собразно тому, каковымъ представляется намъ отношеніе признака къ предмету. Во-первыхъ, мы можемъ смотрѣть на извѣстный признакъ, какъ на присущій предмету, пассивно ему принадлежащи, данный въ немъ: снѣгъ бѣлъ, бѣлая бумага, синьое небо, темная ночь. Апперцептированный въ словѣ, такой признакъ даетъ имя прилагательное. Во-вторыхъ, мы можемъ рассматривать признакъ не какъ данный заранѣе въ предметѣ, не пассивно ему принадлежащи, а какъ производимый его дѣятельностью, продуктъ его энергіи:

¹⁾ Т. е. „индоевропейскіе“.

снѣгъ бѣльетъ (какъ бы самъ производить свою бѣлизну), солнце свѣтитъ, ночь темнѣетъ. Апперцепція такого признака въ словѣ есть глаголъ. Далѣе, признакъ можетъ быть понять, какъ производимый дѣятельностью предмета, но, разъ онъ усмотрѣнъ и вниманіе на немъ сосредоточено, онъ можетъ быть отнесенъ къ предмету, какъ его свойство. Такая точка зрењія, выраженная въ словѣ, создаетъ часть рѣчи, въ которой глагольность соединена съ прилагательностью, при чемъ послѣдняя береть верхъ надъ первою. Это—такъ-назыв. *причастіе: бѣльющій снѣгъ, свѣтящее солнце, темнѣющая ночь.*

Въ этихъ трехъ частяхъ рѣчи имѣть мѣсто выдѣленіе изъ массы признаковъ, составляющихъ предметъ одного, на который и обращается вниманіе, при чемъ въ словѣ апперцептируется не самъ по себѣ этотъ признакъ, а его отношеніе къ предмету: въ прилагательномъ выражена его принадлежность предмету, въ глаголѣ—его отношеніе къ предмету, какъ продукта къ производителю, въ причастіи—оба отношенія вмѣстѣ. Но возможна еще одна точка зрењія, въ силу которой известный признакъ не выдѣляется изъ совокупности другихъ, т. е. изъ предмета, а схватывается словомъ именно для обозначенія этой совокупности. Медвѣдь имѣть много признаковъ, но языку незачѣмъ перечислять ихъ всѣхъ, а достаточно указать одинъ, который почему-либо представляется характернымъ, внутреннею формою слова (медвѣдь єсть медъ), или другой, извлеченный изъ значенія (медвѣдь—животное четвероногое). Мы наблюдаемъ здѣсь три акта мысли, составляющіе одно цѣлое, одинъ умственный процессъ: одинъ, которымъ апперцептируется подлежащее, другой, которымъ схватывается какой-либо изъ его признаковъ, и третій, при помощи котораго устанавливается въ сознаніи то особаго рода отношеніе этого признака къ подлежащему, которое называется *предикативнымъ*. Въ выраженіи „бѣлый снѣгъ“ атрибутъ „бѣлый“ не предикативенъ (не сказуемое): онъ здѣсь *определеніе*, и все выраженіе еще не есть сужденіе. Но если тотъ-же атрибутъ выдѣленъ изъ подлежащаго и потомъ приписанъ ему такъ, какъ будто онъ не былъ въ немъ усмотрѣнъ раньше, какъ будто онъ только-что

открыть, то онъ становится *предикатомъ* (сказуемымъ): сиѣгъ бѣль, сиѣгъ бѣльеть. Этотъ предикатъ—онъ-же грамматическое сказуемое—не долженъ быть смѣшиваемъ съ предикатомъ логическимъ. Послѣдній есть лишь отвлеченіе отъ психологического процесса, осуществляющагося силою языка,—именно вышеуказанного процесса разложенія образа на признаки и возвведенія одного изъ нихъ на степень предиката. Разница между тѣмъ и другимъ станетъ ясною для насъ, если вспомнимъ, что логика не знаетъ ни дополненій, ни обстоятельствъ, и для нея предикатъ—это все, что отнесено къ субъекту, т. е. логический предикатъ заключаетъ въ себѣ грамматическое сказуемое вмѣстѣ съ второстепенными частями, къ нему относящимися, такъ же какъ и логической субъектъ совмѣщаетъ въ себѣ грамматическое подлежащее и его опредѣленія и дополненія. Такъ напр. сужденіе „эта французская книга доставила мнѣ большое удовольствіе“ съ точки зрењія логики состоять только изъ двухъ частей, т. е. изъ двухъ актовъ мысли, субъекта (эта французская книга) и предиката (доставила мнѣ большое удовольствіе). Въ дѣйствительности, т. е. психологически, здѣсь не два, а цѣлыхъ 7 актовъ мысли, потому что психологически и грамматически подлежащее вовсе не сливается въ одинъ актъ мысли со своими опредѣленіями, а сказуемое со своими дополненіями въ другой. Пока я схватываю мыслю опредѣленіе „эта“ я не могу заодно напр. тотъ, что это животное єсть медъ. Выраженный въ словѣ „медвѣдь“, этотъ признакъ служитъ представителемъ всѣхъ прочихъ признаковъ медвѣдя и обозначаетъ весь предметъ цѣликомъ въ его единствѣ, въ его отдѣльности отъ другихъ предметовъ. Такое слово есть *имя существительное*. Какъ известно, съ теченіемъ времени представленіе, схваченное въ словѣ, подлежитъ забвенію, но самое—то слово удерживаетъ свойство обозначать данный предметъ: домъ, огонь, солнце. Въ этомъ видѣ существительное указываетъ на совокупность признаковъ, составляющихъ предметъ, не выдвигая впередъ ни одного изъ нихъ. Какъ при наличии внутренней формы, такъ и безъ нея, существительное есть актъ мысли, которымъ мы апперцепируемъ *субстанциальность* вещей, при чемъ мы

можемъ ее апперцепировать какъ тамъ, гдѣ она находитъ свое оправданіе въ дѣйствительности, такъ и тамъ, гдѣ она такого оправдания не находитъ. Въ послѣднемъ случаѣ существительныя выражаютъ субстанціи *фиктивныя*: отъ различныхъ предметовъ отвлекается признакъ, общій имъ всѣмъ, напр. признакъ бѣлизны отъ снѣга, камня, бумаги и т. д., и затѣмъ этому признаку приписывается субстанціальность, которой въ дѣйствительности онъ не имѣеть. Съ этой точки зрѣнія воспроизведеній въ словѣ, онъ даетъ бытіе существительному *близна*.

Теперь обратимся къ членамъ *предложенія*. Мы уже знаемъ, что въ примитивномъ словѣ-сужденіи заключено цѣлое предложеніе, въ которомъ выраженъ лишь одинъ *предикатъ* (сказуемое). Изъ такого одночлененного предложения развиваются двучленныя (съ подлежащимъ и сказуемымъ) и многочленныя (съ подлежащимъ, сказуемымъ, дополненіемъ, опредѣленіемъ, обстоятельствомъ) черезъ разложеніе образа на его признаки и опредѣленіе въ словѣ различныхъ отношений признаковъ къ предмету. Первый шагъ въ этомъ процессѣ состоить въ томъ, что сказуемое, которое одно только и выражено въ предложеніи одночленномъ („жика“ о солнцѣ, „медвѣдь“ объ извѣстномъ животномъ), превращается въ подлежащее, а въ сказуемомъ схватывается посредствомъ другого слова какои-бы то ни было признакъ этого подлежащаго, напр. тотъ, который уже указанъ схватить и другое („французская“) да еще въ добавокъ и подлежащее „книга“, и какъ бы скоро я ни переходилъ отъ одного къ другому, всетаки для каждого изъ нихъ нуженъ особый моментъ, отдѣльный актъ мышленія. То же самое относится и къ сказуемому съ его дополненіями: я держу въ умѣ раздѣльно сказуемое „доставила“ и дополненія „мнѣ“, „удовольствіе“, отдѣляя мыслю отъ послѣдняго его атрибутъ „большое“. Такимъ образомъ, сужденіе, какъ процессъ психолого-грамматической, есть движеніе, мысли, дробящейся на отдѣльные моменты, которыхъ логика не различаетъ. Оттуда выводъ: опредѣленіе грамматического предложения не можетъ быть выведено изъ понятія о сужденіи логическомъ.

Послѣднее есть неизмѣнная схема, равно обязательная для всѣхъ временъ и народовъ. Первое постоянно измѣняетъ свой строй и духъ по народностямъ (по языкамъ) и во времени. Потебиѣ принадлежитъ та заслуга, что онъ первый доказалъ это строго—научнымъ образомъ. A priori же оно можетъ быть выведено слѣдующимъ путемъ. Выше мы видѣли, что части рѣчи суть раздѣльные акты мысли, которыми мы апперцепириуемъ отношеніе признака къ предмету. Далѣе, говоря о предложеніи и его частяхъ, мы нашли, что они суть также раздѣльные акты мысли, которыми устанавливаются извѣстныя отношенія сказуемаго къ подлежащему, опредѣленія къ опредѣляемому, дополненія къ дополняемому. Всматриваясь въ эти отношенія, мы замѣчаемъ, что въ сущности они суть тѣ-же которыхъ апперцепированы въ частяхъ рѣчи. Такъ напр. въ существительномъ мысль схватываетъ „предметъ“,—то же самое дѣлаетъ и подлежащее съ тою-лишь разницей, что ставить этотъ предметъ въ положеніе дѣйствующаго лица; въ прилагательномъ указанъ признакъ, данный въ предметѣ,—то же самое указано опредѣленіемъ „бѣлый снѣгъ“ и частью сказуемаго „снѣгъ (есть) бѣлъ“; глаголъ обозначаетъ признакъ, производимый энергіею предмета,—такъ же точно и сказуемое бѣлъетъ выражаетъ результатъ энергіи подлежащаго снѣгу и т. д. Однимъ словомъ, *части рѣчи и члены предложения* это только различныя названія одного и того же явленія. Это двѣ точки зрѣнія (этимологическая и синтаксическая) на одинъ и тотъ же психологическій процессъ. Отгуда, полное сліяніе этимологіи съ синтаксисомъ составляетъ идеальную цѣль лингвистики, и нигдѣ оно не было доведено до такой полноты, какъ именно въ трудахъ Потебни.

Но извѣстно, что части рѣчи не стоятъ неподвижно, что они измѣняются въ теченіе вѣковъ, и эти измѣненія формъ и составляли до сихъ поръ предметъ „исторіи языка“,—исторіи, которую можно назвать вѣшнею. Если же части рѣчи мѣняются, имѣютъ исторію, то неизбѣжно должно измѣняться и имѣть исторію и *предложеніе*. Оттуда выводъ Потебни, что нельзя дать общаго, неподвижнаго опредѣленія *предложенія*, какъ можно и должно сдѣлать это для *логического сужденія*, а слѣдуетъ доиски-

ваться отдельныхъ, частныхъ определеній различныхъ типовъ предложенийъ—для каждой эпохи особо. „Въ языке нѣть“—говорить Потебня,—ни одной неподвижной грамматической катергоріи. Но съ измѣненіемъ грамматическихъ категорій неизбѣжно измѣняется и то цѣлое, въ которомъ онъ возникаютъ и измѣняются, именно *предложение*, подобно тому какъ неизбѣжно форма устойчивой кучи зависитъ отъ формы вещей (напр. кирпичей, ядеръ), изъ коихъ она слагается, какъ неизбѣжно форма и определеніе общества измѣняется вмѣстѣ съ развитиемъ особый“. (Изъ зап. по рус. грам. 27 в—77).—„Интересъ исторіи именно въ томъ, что она не есть лишь бесконечная тавтологія. Такъ и изъ основнаго взгляда на языкъ, какъ на измѣнчивый органъ мысли, слѣдуетъ, что исторія языка, взятаго на значительномъ протяженіи времени, должна давать рядъ определеній предложения“. (ibid. 77).

Своими глубокими изслѣдованіями Потебня положилъ основаніе *внутренней исторіи языка*,—онъ открылъ законъ эволюціи предложения, т. е.—мысли, и это открытие по праву должно быть названо великимъ.

Если возьмемъ предложение въ томъ видѣ, въ какомъ является оно въ настоящее время, въ развитыхъ языкахъ, то найдемъ, что оно по преимуществу *глагольно*, т. е. его центръ тяжести—въ *глагольномъ сказуемомъ*. Подлежащее нерѣдко отсутствуетъ, глаголь—сказуемое—никогда: случаи, когда глаголь опускается, не означаютъ его отсутствія, ибо—невыраженный словомъ—онъ тѣмъ не менѣе существуетъ въ мысли, какъ напр. нашъ глаголь *есть*¹⁾). Напротивъ того, въ современномъ предложеніи подлежащее часто *фактически* отсутствуетъ даже тогда, когда оно выражено особымъ словомъ. Потебня считаетъ предложеніями безъ подлежащаго не только такія, какъ „*свѣтаетъ*“, „*тошнитъ*“ и пр., по и такія, какъ „*я сказалъ*“ съ удареніемъ на глаголѣ, потому что мѣстоименіе „*я*“ здѣсь—только замѣна отсутствующаго окончанія въ глаголѣ (сказалъ) и вовсе не слу-

¹⁾ Стоитъ только взять вмѣсто наст. врем. прошедшее или будущее, чтобы убѣдиться въ этомъ: „Пётръ Великій (сѣть) геній“, но „Пётръ В. былъ геній“.

зить характеристикою действующаго лица. Другое дѣло „я сказаль“ съ ударениемъ на „я“: мѣстоименіе является здѣсь не просто замѣстителемъ личнаго окончанія, но указываетъ на действующее лицо, заставляя мыслить его конкретные признаки; оно здѣсь—замѣна извѣстнаго существительного.

Глаголь въ сказуемомъ играетъ двойную роль: 1) онъ можетъ наполнять собою все сказуемое цѣликомъ и 2) можетъ составлять только часть его. Возьмемъ два предложенія: „Петръ Великій царствовалъ самодержавно“ и „Петръ Великій былъ самодержавный царь“. Эти два предложения покажутся равносильными только для поверхностнаго взгляда, невооруженнаго лингвистическою наблюдательностью. Если даже допустимъ (чего, строго говоря, неѣтъ), что ихъ содержаніе одно и то же, то способъ, какимъ оно схвачено въ томъ и другомъ, различенъ, различіе находится въ сказуемомъ. Въ первомъ сказуемое „царствовалъ“ выражено однимъ глаголомъ и составляетъ *одинъ актъ мысли*. Во второмъ оно выражено двумя словами (глаголомъ *былъ* и существительнымъ *царь*) и при томъ такъ, что эти два слова образуютъ не одинъ, а именно *два акта мысли*. Сказуемое первого предложения есть *простое*, сказуемое втораго—*составное*. Составное сказуемое не нужно смѣшивать съ такъ называемыми сложными или описательными временами (изъ вспомогательного глагола и причастья или неопр. накл.), каковы франц. *je suis venu, j'ai pris, n'ѣм. ich habe genommen, ich bin gekommen*, наши старинныя „есть взялъ“, „есть умеръ“, (откуда пынѣшнія *взялъ, умеръ*). Всѣ эти сложныя времена, хотя и состоятъ изъ двухъ словъ, но суть сказуемыя простыя, а не составныя, потому что заключаются въ себѣ только одинъ актъ мысли, а не два. Французъ не мыслитъ *suis*, какъ самостоятельный глаголь, отдельно отъ *venu*: въ его сознаніи оба слова сливаются въ одинъ актъ мысли. Напротивъ, тотъ же глаголь *suis* въ предложеніи „*je suis rauvre*“ уже не сливается въ одинъ актъ съ прилагательнымъ *rauvre*, и сказуемое здѣсь—составное (изъ двухъ актовъ).

Всѣ описательныя времена (*je suis venu, ich bin gekommen* и т. д.) возникли изъ прежнихъ составныхъ сказуемыхъ,

черезъ превращеніе двухъ актовъ мысли въ одинъ. Такое именно превращеніе повторяется вновь, когда мы отъ предложенія „Петръ В. былъ царь самодержавный“ переходимъ къ предложенію „Петръ В. царствовалъ самодержавно“. Сущность процесса состоитъ въ слѣдующемъ. Какъ составнымъ сказуемымъ „былъ царь“, такъ и простымъ „царствовалъ“ схваченъ одинъ и тотъ же признакъ подлежащаго „Петръ В.“, но схваченъ различнымъ образомъ, съ двухъ разныхъ точекъ зрѣнія. Точка зрѣнія, представляемая составнымъ сказуемымъ, состоитъ въ томъ, что въ субстанціи „Петръ В.“ усматривается присутствіе другой субстанціи „царь“ и отношеніе этой послѣдней къ подлежащему мыслится особымъ актомъ мысли, выражющимся въ глаголѣ „былъ“. Такъ какъ этотъ глаголъ устанавливаетъ извѣстную связь между двумя субстанціями, то удобнѣе всего называть его *связкою*. Съ точки зрѣнія простаго сказуемаго „царствовалъ“, въ подлежащемъ не усматривается никакой другой субстанціи, кроме той, которая непосредственно выражена имъ самимъ („Петръ В.“), но за то въ немъ открывется *энергія, дѣятельность*, прямо производящая данный признакъ („царствовалъ“), въ силу чего уже неѣтъ надобности мыслить *связку*.

Если бы я задался цѣлью изложить въ популярной формѣ все „введеніе“ въ изслѣдованіе о „составныхъ членахъ предложенія“, то мнѣ пришлось бы написать цѣлый томъ. То немногое, но существенное, что изложено въ этой главѣ, представляется мнѣ достаточнымъ для пониманія нижеслѣдующаго, а равно и для того, чтобы облегчить читателю—неспециалисту изученіе классическаго труда Потебни въ его подлинникѣ.

IV.

Въ языкѣ (какъ и во всемъ, что подлежитъ закону эволюціи) новыя явленія возникаютъ постепенно, и столь же постепенно отживаются старыя, такъ что каждый данный мо-

ментъ въ исторіи языка представляетъ причудливую смѣсь стараго съ новымъ. Если мы вырвемъ такой моментъ изъ его связи съ другими и будемъ разматривать его отдельно, то пожалуй и не разберемъ, что въ немъ старое, отживающее, и что новое, нарождающееся. Но стоитъ только взять рядъ моментовъ, обозрѣть явленія языка на большомъ пространствѣ времени, и тогда само собою обнаружится, какія изъ нихъ идутъ на убыль, какія развиваются дальше или вновь возникаютъ.

Къ числу явленій, весьма обычныхъ встарину, характерныхъ для старого языка и совсѣмъ исчезнувшихъ въ современномъ русскомъ, принадлежать между прочимъ *сочетанія причастій дѣйствительныхъ съ разными глаголами для выраженія составного сказуемаго*. Нужно оговориться, что въ данномъ случаѣ устраниются изъ разсмотрѣнія сочетанія причастій на—*лъ* (далъ, взялъ, былъ) съ разными формами глагола *есмъ*, потому что эти сочетанія уже въ глубокой древности потеряли характеръ составного сказуемаго, превратившись въ описательныя времена. Мы будемъ имѣть въ виду пока только причастія дѣйствительныя наст. и прош. врем. на—*щій,-чій,-вшій,-шій*. Изъ большаго количества собранныхъ Потебнею фактовъ, сюда относящихся, мы выберемъ лишь нѣсколько церковнославянскихъ и древнерусскихъ, чтобы дать читателю наглядное представленіе о явленіи, представляющемъ большой психологической интересъ.

Въ Евангелии Луки (18, 11—12) фарисей говоритъ, что онъ не такой, какъ другіе, что онъ постится и даетъ десятину. Въ греческомъ текстѣ послѣднія два сказуемыхъ такъ и выражены — соотвѣтственными глаголами (*υηστέοω* — пощусь, *ἀποβεκάω* — плачу десятину); такъ-же переведено по церковнославянски въ Маріинскомъ Еванг. (пошлю, даю), но не такъ въ остромировомъ Ев., гдѣ простыя сказуемыхъ „пощусь“, и „даю десятину“ переведены не буквально“, а скорѣе „вольно“, сказуемыми составными (изъ причастій и подразумѣваемаго глагола *есмъ*): (есмъ) алъчѧ, (есмъ) десятинѧ даю. Славянскій переводчикъ, замѣчаетъ Потебня, въ даномъ случаѣ сообразо-

вался съ требованиями своего языка, и смыслъ славянскаго оброта приблизительно таковъ: я—постникъ, я—исправный плательщикъ десятины. („Изъ зап. по русс. Грамм.“, 128).

Подобные обороты весьма характерны не только для церковно-славянского, но и для древнерусского языка, и мы въ изобилии находимъ ихъ въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ:

Си же (ини языци, иже дань даютъ Руси) суть свой языкъ имуще=имѣютъ свой языкъ.

И есть та церки стоящи въ Корсунѣ градѣ=церковь стоитъ.

Суть же кости его и доселѣ тамо лежаче=лежатъ.

Буди упова на Господа=букв. „будь уповающій“=уповай.

И бѣ обладая Олегъ Поляны=букв. „быль обладающій“=обладалъ Полянами.

И бѣ заповѣдала Ольга не творити трывны надъ собою, бѣ бо имущи презвутерь=ибо имѣла пресвитера.

Въ настоящее время подобные обороты невозможны: мы ихъ замѣняемъ либо простыми глагольными сказуемыми, либо составными, но неизъ причастій, а изъ именъ существительныхъ. Мы не скажемъ „церковь есть стоящая“, „Ольга была имѣющая“, „я—постоящій“, а скажемъ: церковь стоитъ, Ольга имѣла, я пошуся, или я—постникъ.

Еще болѣе чуждо нашему теперешнему языку сочетаніе тѣхъ-же причастій съ другими глаголами, которые встарину служили „связками“ наравнѣ съ глаголомъ бытъ. Напр. въ церковно-слав.

Мыняахъ доухъ видаше (Остром. Ев.)—букв. „думали духъ видящие“, отчоиныѣ невозможно; мы скажемъ: думали, что видятъ.

Въ древнерусскомъ: ~~такъ~~ думали и видели Даниилъ... сожалиси отславъ сына си Лва и воѣ (Ипат. Лѣт.). Въ буквальномъ переводѣ па современный языкъ выйдетъ „пожалѣлъ отославшій сына“, что невозможно. Если же вмѣсто причастія отславъ поставить наше дѣепричастіе, то получится другой смыслъ: лѣтописная фраза вовсе не значитъ „отославши сына и воиновъ, Данило пожалѣлъ“, но „пожалѣлъ, что отославъ“.

И яко сконча зижса (окончивъ строить), украси ю (цер-
зовъ) иконами.

Святославъ.... спде княжа.—Это не значитъ, что онъ „сѣлъ
въ то время, какъ княжилъ“: это значитъ „сѣлъ (чтобы) кня-
жить“.

Всѣ эти старые обороты знаменуютъ собою такое состоя-
ніе мысли, которое мало приспособлено для аппрепції пре-
диката въ формѣ чисто-глагольной. Человѣкъ, который говоритъ
„я есмь любящій“ вмѣсто „я люблю“, схватываетъ въ сказуе-
момъ признакъ „любить“ не въ формѣ энергіи подлежащаго, а въ
видѣ признака, въ немъ обнаруживающагося, выражая этотъ
признакъ причастіемъ связывая послѣднее съ подлежащимъ
при помощи вспомогательного глагола. Въ роли глагола—связки
выступаютъ не только такие формальные глаголы, какъ быть,
являться, казаться, именоваться, но и такие, какъ думать, окон-
чить, сѣсть, и т. д. Нѣкоторые изъ послѣднихъ и въ современ-
номъ языкѣ могутъ играть роль связокъ, но только въ соединеніи не съ причастіемъ, а съ неопред. наклоненіемъ (сѣль
княжить, окончилъ строить), о чёмъ у нась будетъ рѣчь ниже.
Старый оборотъ съ причастіемъ въ сказуемомъ и глаголомъ—
связкою имѣеть какъ бы два равносильные центра: *имя* въ под-
лежащемъ и другое *имя-же* (причастіе) въ сказуемомъ. Такое
предложеніе, сравнительно съ нынѣшнимъ, представляется плохо
скрѣпленнымъ и какъ-бы готовымъ распасться на части. Когда
мы говоримъ „церковь стоитъ“, „Ольга имѣла священника“,
то центръ тяжести мысли сосредоточивается у нась въ глаголѣ—
сказуемомъ (стоитъ, имѣла). Такого центра тяготѣнія нѣть въ
старыхъ оборотахъ „церковь есть стоящая“, „Ольга была имѣ-
ющая“, гдѣ глаголъ-связка не обладаетъ полною предикатив-
ною силою, большая часть которой падаетъ на причастіе. Пос-
лѣднее, въ силу своей предикативности, легко вытѣсняетъ со-
отвѣтственные глаголы, которые такимъ образомъ существуютъ
въ языкѣ, но остаются какъ бы не у дѣлъ. Мысль еще не при-
выкла орудовать глаголами и сосредоточиваться на представле-
ніи энергіи подлежащаго. Даже употребляя глагольный оборотъ,
она повидимому не вполнѣ сознаетъ всю силу сказуемаго-гла-

гола и рядом съ нимъ ставитъ причастіе, какъ форму по своей предикативности равносильную глаголу. Оттуда между прочимъ обороты, которые для нашего сознанія орудующаго глаголами и не придающаго большой предикативной силы причастію, кажутся безобразными, напр. „заутра вѣставъ и рече“, „вѣсплакавъ и рече“, буквально „вѣставшій и сказалъ“, „заплакавшій и сказалъ“ вмѣсто „вѣсталъ и сказалъ“, „заплакалъ и сказалъ“. «Наша рѣчь (говорить по поводу этихъ оборотовъ Потебня, „Изъ зап.“, 187) вообще компактнѣе древней. Въ настоящемъ случаѣ („онъ вставши сказалъ“) она характеризуется тѣмъ, что въ ней дѣепричастіе весьма тѣсно связано со сказуемымъ и тяготѣеть только къ нему, такъ что сказуемое съ дѣепричастіемъ рѣшительно перевѣшиваетъ подлежащее. Союзъ въ „вставши и сказалъ“ намъ претитъ потому, что противорѣча вышеупомянутому тяготѣнію дѣепричастія, вносить въ рѣчь распущенность; но безобразное въ нынѣшнемъ языкѣ могло не быть такимъ въ древнемъ, если было знаменіемъ его строя. Въ древнемъ языкѣ на мѣстѣ нашего дѣепричастія стояло причастіе, неимѣвшее непосредственного отношенія къ глагольному ному сказуемому. Поэтому можно думать, что въ древнемъ „вставъ и рече“ присутствіе союза дѣлаетъ лишь болѣе явственнымъ свойство оборота, существовавшее и безъ союза, именно то, что въ продолженіи — два почти равносильные центра».

Тотъ-же предикативный характеръ старыхъ причастій, т. е. ихъ способность быть сказуемымъ даже безъ помощи глагола-связки, обнаруживается въ другого рода оборотахъ, а именно когда оно играетъ роль самостоятельного сказуемаго въ придаточномъ предложеніи, соединенномъ съ главнымъ посредствомъ относительного слова (мѣстоименія или союза). Такъ фраза „они не вѣдаютъ, что творятъ“ имѣла въ церковно-слав. такой видъ: не вѣдать бо сѧ, чѣто творѧще—букв. не вѣдаютъ, что творѧщіе. Въ старо-русскомъ сюда относятся:

И не бысть, кто помилуя ихъ—букв. „не быль, кто помилующій ихъ“, т. е. некому было сжалиться надъ ними.

По смерти же великаго князя Болеслава, не бысть кто
княжса въ Лядской земли,—букв. „не быль, кто княжащий“=не-
кому было княжить.

И тако съступиша, еже рекше—букв. „отступили отъ
того, что сказавши“=не исполнили того, что обѣщали.

Такие обороты Потебня указываетъ въ старыхъ памятни-
кахъ чешскихъ и польскихъ, а также въ современномъ литовско-
латышскомъ, который, какъ извѣстно, сохранилъ много архай-
ческаго.

Итакъ, причастія дѣйствительныя въ стариинномъ языкѣ
могли играть роль *сказуемаго* и притомъ—неъ только въ сое-
диненіи съ глаголами—связками, но и безъ нихъ, сами по себѣ.
Это значитъ, что они имѣли большую *предикативную* силу. Въ
настоящее время они лишены этой силы, не употребляются въ
качествѣ сказуемыхъ, и ихъ роль ограничивается сферою *ат-
трибутивности*, т. е. они служать въ качествѣ „опредѣленій“.
Но и здѣсь ихъ употребленіе нерѣдко замѣняется другими обо-
ротами, въ особенности *дѣепричастіемъ*, т. е. нарѣчіемъ, прои-
шедшімъ отъ стараго причастія. Въ великорусскомъ народномъ
языкѣ эта новая форма совсѣмъ вытѣснила причастія дѣйстви-
тельныя, отъ которыхъ остались лишь нѣкоторые обращики,
утратившіе причастій характеръ и превратившіеся въ обык-
новенныя прилагательныя (горючій, сыпучій и т. п.) Общерус-
скій (литературный) языкъ, „вообще проникнутый“, по замѣча-
нію Потебни, „консервативными стремленіями“ и развившійся
подъ непрерывнымъ вліяніемъ церковно-славянскаго, сохранилъ
старыя причастія дѣйствительныя ¹⁾), на ряду съ дѣепричастіями
но ограничиваетъ ихъ употребленіе другими оборотами:

- 1) вмѣсто прежняго „есть церкви стоящи“—церковь *стоитъ*
- 2) вмѣсто стараго „въставъ (прич.=вставшій) рече“—*вставши* (дѣепроч.) сказалъ.
- 3) вмѣсто „съде княжса“ (прич.)—съль *княжить* (неопр.
накл.).

¹⁾ Прич. дѣйств. част. врем. сохранилось не въ русской формѣ на-чій, а
въ церковно-славянской—на—щій. Русская же форма дала бытіе нѣкоторымъ прила-
гательнымъ, напр. *горячій*—прич., *горячій*—прилаг.

Весь процессъ носитъ явные признаки дифференціації: функція, выполнявшаяся прежде одной формою (причастіємъ), теперь исполняется тремя. Но самое то предложение въ новомъ языке оказывается болѣе цѣльнымъ, болѣе связаннымъ, чѣмъ его старый прототипъ, потому что дѣепричастіе и неопред. накл. тѣснѣе примыкаютъ въ мысли къ глаголу, чѣмъ имена, въ томъ числѣ и причастіе. „Вставши сказалъ“ или „сѣль княжить“ образуютъ въ сознаніи два акта мысли, которые весьма тѣсно связаны между собою и составляютъ какъ-бы одно цѣлое, противупоставленное третьему акту мысли—подлежащему:

(князь) + (вставши+сказалъ).
1 2

Неизмѣняемость (несогласуемость) дѣепричастія и неопред. накл. не позволяетъ этимъ формамъ тянуть къ подлежащему, и онъ тѣснѣе примыкаютъ въ сознаніи къ сказуемому. Напротивъ причастіе, хотя и составляетъ часть сказуемаго, но согласуясь съ подлежащимъ, не выходитъ изъ сферы тяготѣнія къ этому послѣднему и какъ-бы удаляется отъ глагола связи; помѣщенное подъ воздействиѳ этихъ двухъ силъ, влекущихъ его въ разныя стороны, оно, при глаголахъ очень формальныхъ (какъ *есмь*), подавляетъ ихъ своею содержательностью и, согласуясь съ подлежащимъ, является какъ-бы его отраженiemъ въ сказуемомъ:

Церковь + есть + стоящая
1 2 3

Предложение носитъ характеръ трехъ тактовъ, двухъ сильныхъ въ началѣ и въ концѣ, и одного слабаго по серединѣ, при чёмъ грамматическія функции двухъ предѣльныхъ актовъ мысли аналогичны: оба выражаются *именами* (существ. и прич.), оба вызываютъ въ сознаніи представление жен. рода и един. числа. Дѣятельность мысли развивается скачками, а не плавнымъ переходомъ отъ одного акта къ другому. При глаголахъ менѣе формальныхъ, какъ „сѣль“ (княжить), причастіе въ сказуемомъ („княжацій“) должно было имѣть огромную предикативную силу, чтобы подавить въ мысли сопротивленіе такихъ глаголовъ какъ „сѣсть“, и не быть понятымъ въ смыслѣ определенія подле-

жащаго. Въ буквальномъ переводе на современный языкъ фраза „N съде княжа“ такъ и будетъ понята: N, княжащий съль... Это потому именно, что мы сосредоточиваемъ предикативность въ глаголѣ, а причастіе для насъ только опредѣленіе. Оно вовлекается въ сферу подлежащаго, и предложеніе принимаетъ форму двухъ темповъ:

(N, княжащий), + съль...
 1 2 3

Между тѣмъ какъ въ старомъ оборотѣ оно опять-таки слагалось изъ двухъ сильныхъ ударовъ мысли, въ началѣ и въ концѣ, и слабой скрѣпы формальнымъ глаголомъ между ними:

N + съде + княжа.
 1 2 3

Чѣмъ болѣе предикативной силы имѣеть причастіе, тѣмъ формальнѣе глаголь—связка, тѣмъ служебнѣе его значеніе. Съ потерей причастіями ихъ предикативной силы, увеличивается „удѣльный вѣсь“ глагола; онъ перестаетъ быть служебнымъ и формальнымъ и становится самостоятельнымъ сказуемымъ, выступая въ своемъ вещественномъ значеніи. Старый языкъ употреблялъ много такихъ глаголовъ въ чисто-формальномъ значеніи, которые въ настоящее время или совсѣмъ потеряли его или же сохраняютъ нѣкоторую его тѣнь въ соединеніи не съ именами, а съ неопред. наклоненіемъ. Таковъ напр. спѣсть. Формальное значеніе его въ предложеніи, N, княжащий, съль... утрачено, и онъ выступилъ здѣсь въ своемъ вещественномъ (лексическомъ) значеніи, отчего фраза получила другой смыслъ. Но передавая старый оборотъ соотвѣтствующимъ ему новымъ, который требуетъ замѣны причастія неопр. наклоненіемъ, мы сохраняемъ за глаголомъ спѣсть значеніе связки и вмѣстѣ нѣкоторую формальность: N съль княжить, гдѣ „съль“ вовсе не имѣеть „буквального“ смысла, а равносильно такимъ формальнымъ глаголамъ, какъ стать, начать и т. п.

Мы говорили пока только о причастіяхъ дѣйствительныхъ наст. и прош. времени (на-щій,-чій,-вшій,-шій). Но, кромѣ ихъ, въ старину существовало еще одно причастіе дѣйствительное—наль (былъ, далъ, взялъ) и до сихъ поръ существуютъ причастія

страдательная наст. и прош. врем. (на-мъ,-нъ,-тъ, несомъ, чи-
таемъ, унесень, взятъ). Обозрѣвая всѣ эти причастія, можно
расположить ихъ въ порядкѣ убывающей *предикативности*,
т. е. способности быть сказуемымъ и, сочетаясь съ глаголомъ,
называть его на степень вспомогательного. Съ этой точки зре-
нія, на первомъ планѣ Потебня ставить причастіе на—лъ, при-
писывая ему наибольшую предикативность. Уже въ незапамят-
ныя времена оно, въ своей безчленной формѣ¹⁾), употреблялось
для выраженія сказуемаго и, въ сочетаніи съ разными време-
нами глагола бытъ, производило сложныя формы прошедшаго
времени и сослагательного наклоненія (есмъ даль, бѣхъ взялъ,
быхъ жилъ). Эти формы были сперва, безъ сомнѣнія, состав-
ными сказуемыми (двумя актами мысли), но очень рано, еще
до начала славянской письменности, превратились въ „описа-
тельныя формы“ (въ одинъ актъ мысли). Предикативная сила
причастій на-лъ была такъ велика, что обезличивала вспомога-
тельный глаголъ въ гораздо большей степени, чѣмъ это дѣлали
другія причастія. Такъ, въ сочетаніи „церкви есть стоящи“ гла-
голъ „есть“, хотя и былъ обезличенъ и превращенъ въ чисто фор-
мальный, но не исчезъ изъ сознанія, занималъ въ процессѣ
мысли свое особое мѣсто. Но въ сочетаніи „церкви есть стояла“
тотъ-же глаголъ уже совсѣмъ не мыслился отдельно отъ прича-
стія, какъ не мыслится отдельно французское *suis* въ сочетаніи је
suis *venu*. Въ русскомъ яз. съ теченіемъ времени этотъ вспомо-
гательный глаголъ совсѣмъ исчезъ, и вся глагольная сила обо-
рота сосредоточивается въ причастіи, которое тѣмъ самымъ и
перестаетъ быть причастіемъ и превращается въ настоящій гла-
голъ, каковы наши теперешнія *былъ*, *далъ*, *взялъ* и пр. Резуль-
татъ получился тотъ самый, который мы указали выше: про-
гресс глагольности въ языкѣ. Въ оборотахъ съ причастіями
на-щій и т. д. этотъ результатъ былъ достигнутъ замѣнью при-

¹⁾ Членными формами прилагательныхъ и причастій называются формы на-
ый, ая, ое, (блѣдный, ая, ое), ибо въ этомъ окончаніи скрывается старое мѣстоименіе, приставившееся къ прилагательному или причасцію на концѣ въ качествѣ „члена“ (какъ фр. le, la, иѣм. der die, das); безчленными называются формы безъ
этой приставки (блѣль, а, о).

частій глаголами; въ оборотахъ съ причастіемъ на-лъ онъ по-
лучился черезъ превращеніе этого причастія въ глаголъ.

Еще ниже стояла предикативность причастій страдатель-
ныхъ, въ силу чего страдательные формы глагола (есмъ лю-
бимъ, бысть взять), не взирая на обезличенность вспомогатель-
ного глагола, воспринимались мыслю не какъ одна форма, а
какъ сочетаніе двухъ. Страницы, посвященные Потебнею из-
слѣдованію этихъ причастій, принадлежатъ къ числу изумитель-
нѣйшихъ по силѣ наблюденія тончайшихъ оттѣнковъ мысли.
Мы не можемъ передать здѣсь весь ходъ разсужденія (это во-
влекло бы насъ въ область слишкомъ специальную) и ограни-
чимся сообщеніемъ добытаго результата. Страдательные прича-
стія оказываются менѣе предикативными, чѣмъ дѣйствительныя;
поэтому они менѣе послѣднихъ способны къ слянію въ одну
форму со вспомогательнымъ глаголомъ. Это отразилось на даль-
нѣйшей судьбѣ этихъ причастій: ихъ предикативность, относи-
тельно слабая, не претитъ духу новаго языка, не противорѣ-
чить общему стремленію языка къ развитію глагольности пред-
ложенія. Поэтому не было надобности устранить ихъ изъ сферы
сказуемаго и ограничивать ихъ роль сферою атрибутивности.
Съ другой стороны, та-же особенность не дала возможности
этимъ причастіямъ совсѣмъ подавить глаголь вспомогательный,
какъ это сдѣлали причастія на-лъ и самимъ превратиться въ
глаголы; они остались причастіями. И когда мы говоримъ „онъ
любимъ“, то мы сознаемъ, какъ отдѣльный моментъ мысли,
отсутствующій глаголъ „есмъ“, и сказуемое „любимъ“ состоитъ
не изъ одного, а изъ двухъ актовъ мысли. Отсутствіе вспомо-
гательного глагола здѣсь фиктивно: онъ отсутствуетъ, какъ ар-
тикулированная форма, но онъ—на лицо, какъ мыслимая
грамматическая категорія, какъ грамматический отпечатокъ этой
формы въ сознаніи. И стоитъ только взять прошедшее или бу-
дущее время, чтобы она выступила наружу въ видѣ элемената
не только мыслимаго, но и артикулированнаго: онъ *былъ* любимъ,
онъ *будетъ* любимъ. Не то—въ сочетаніи „онъ любилъ“, гдѣ
вспомогательный глаголъ (есть), нѣкогда входившій въ составъ
оборота, теперь въ самомъ дѣлѣ отсутствуетъ, не только какъ
звукъ, но и какъ моментъ мысли.

По степени предикативности, причастія страдательныя приближаются къ именамъ существительнымъ и прилагательнымъ. „Въ новомъ языке“, говоритъ Потебня, „выраженія онъ любимъ, онъ осужденъ, по степени грамматической слитности¹⁾, могутъ быть поставлены на одну доску не съ выражениемъ онъ любилъ, заключающимъ въ себѣ наиболѣе предикативное изъ причастій, а скорѣе съ онъ правъ. „(Изъ зап., 149)“.

Съ тѣмъ вмѣстѣ мы переходимъ къ вопросу объ именахъ (сущ. и прилаг.) въ составномъ сказуемомъ. Убѣдившись изъ разсмотрѣнія причастій, что въ языѣ существуетъ стремленіе къ развитію глагольности предложеній, мы естественно склонны искать признаковъ того-же процесса и въ другихъ сферахъ языка, между прочимъ—въ оборотахъ, где сказуемое выражено именемъ въ соединеніи со вспомогательнымъ глаголомъ.

V.

Въ этихъ оборотахъ стремленіе къ глагольности сказуемаго приводитъ къ замѣнѣ именительного падежа въ предикативномъ имени творительнымъ, т. е. къ превращенію сочетанія „N былъ купецъ“ въ сочетаніе „N былъ купцомъ“. Такой творительный составляетъ, какъ извѣстно, особенность языковъ славянскихъ и литовско-латышского. Его происхожденіе и значеніе раскрыты Потебнею въ обширной главѣ, которая есть настоящій шедѣръ грамматического изслѣдованія и сама по себѣ, помимо всего прочаго, могла бы обезсмертить имя Потебни въ исторіи знанія. Передадимъ въ немногихъ словахъ сущность этого изслѣдованія.

Синтаксическое различіе между „N былъ купецъ“ и „N былъ купцомъ“ состоитъ прежде всего въ томъ, что въ первомъ оборотѣ слово *купецъ*, образуя несомнѣнно часть составнаго сказуемаго, согласуется съ подлежащимъ и поэтому стоитъ въ именительномъ падежѣ, между тѣмъ какъ во второмъ оборотѣ это согласованіе, а стало быть и связь предикативнаго имени (ку-

¹⁾ Т. е. съ точки зреіїя болѣе или менѣе тѣснаго сліянія причастія съ подразумѣваемымъ или наличнымъ вспомогательнымъ глаголомъ (есть, былъ и пр.).

пецъ) съ его подлежащимъ устраниены, и творительный (купцомъ), ставшій на мѣсто именительного, уже не можетъ быть рассматриваемъ—какъ часть сказуемаго.

Перенеся вопросъ на почву исторіи языка, Потебня доказалъ, что этотъ творительный вовсе не былъ *исконной* принадлежностью славяно-литовской группы (какъ думали нѣкоторые другие авторитеты, напр. Миклошичъ), но возникъ въ этихъ языкахъ въ извѣстную эпоху. Первоначально, какъ и въ другихъ индоевропейскихъ языкахъ, предикативное имя ставилось только въ именительномъ падежѣ, сохранившемся здѣсь и досель, но только получившемъ, въ силу присутствія новой формы, способность выражать нѣкоторые особые оттѣнки¹⁾. Прототипъ рассматриваемаго творительного Потебня признаетъ *творительный образъ дѣйствія* въ тѣхъ случаяхъ, когда субстанція объекта, выраженного творительнымъ, совпадала съ субстанціею подлежащаго. Въ *предложеніяхъ „N пишетъ первомъ“, „N идетъ воиномъ“* и т. д. эти субстанціи не совпадаютъ, а потому подобные творительные образы и не могутъ рассматриваться какъ прототипъ творительного въ *„N былъ купцомъ“*. Другое дѣло—творительный образа въ выраженіяхъ, какъ *„послаша Козму Твердиславича и Александра Борисовича посольствомъ“* (Новгор. I лѣтоп.), *„игуменъ иде съльмъ (посломъ)“* и т. д., *„гдѣ замѣчается частное сліяніе субстанцій, такъ что игуменъ и былъ посломъ“* (Изъ зап., 500). Сюда нужно отнести и такъ-называемый *творительный сравненія и превращенія*: *„конь летить стрѣлою“, „Игорь соколомъ полетѣ“, „у дороги бѣлымъ камнемъ осталась Марья царевна“*.

Въ этихъ случаяхъ—говорить Потебня, ib., 500,—можно видѣть уже первую ступень творительного предикативнаго²⁾, въ которомъ вообще такое совпаденіе субстанцій есть постоянный признакъ.

¹⁾ „Прежде созданное въ языке двояко служитъ основаниемъ новому: частью оно перестраивается заново при другихъ условіяхъ и по другому началу, частью же измѣняется свой видъ и значеніе въ цѣломъ единственно отъ присутствія посваго“. (Изъ зап., 125).

²⁾ Название *предикативного* Потебня удерживаетъ для краткости, оговариваясь, что не признаетъ (вопреки другимъ ученымъ) этотъ падежъ предикатомъ (частью сказуемаго).

Остается теперь раскрыть самый процессъ или условія возникновенія творительного „предикативнаго“ изъ указанныхъ его прототиповъ. Переходя къ этому вопросу, Потебня прежде всего обращаетъ вниманіе на тѣ глаголы, при которыхъ наблюдается замѣна именительнаго творительнаго; и находитъ, что эти глаголы нужно раздѣлить на два разряда: 1) глаголы *большой энергичности*, каковы *быть, являться, казаться, называться, становиться* и т. д. и 2) глаголы *меньшей энергичности*, какъ *жить, умереть, цѣльсти, имти* и пр. Первые представляются болѣе энергичными въ томъ смыслѣ, что признакъ, выраженный „предикативнымъ“ именемъ (Н *былъ купцомъ*, онъ *казался задумчивымъ*, Петръ I *называется великимъ*) явственно изображается какъ результатъ энергіи, указанной глаголомъ (*быть, казаться, называться*), представленъ въ зависимости отъ нея и усматривается въ подлежащемъ непосредственно вслѣдъ за обнаружениемъ этой энергіи, а не одновременно съ нею. Глаголы второй категоріи представляются менѣе энергичными въ томъ смыслѣ, что признакъ, выраженный именемъ (шелъ *пыший*, умеръ *бѣднякомъ*, жила *вдовою*), вовсе не представленъ какъ результатъ энергіи, обозначенной глаголомъ (*шелъ, умеръ, жила*), не стоитъ въ зависимости отъ нея и не слѣдуетъ за нею во времени. Это просто признакъ, усмотрѣнныи въ подлежащемъ и привлеченный къ глаголу только потому, что его обнаружение представляется одновременнымъ съ обнаружениемъ признака, выраженного глаголомъ: „шелъ *пышій*“ не значить *былъ пышій* потому, что *шелъ*, а значитъ: *былъ пышій* въ то самое время, какъ *шелъ*.

Обращаясь теперь къ истории языка, мы находимъ, что творительный „предикативный“ появился при глаголахъ 2-го типа (*меньшей энергіи*) *раньше*, чѣмъ при глаголахъ 1-го типа (*большой энергіи*). Онъ появился сперва въ *предложеніяхъ* въ родѣ „она *жила* (умерла, сидѣла) *вдовою*“, а уже потомъ въ *предложеніяхъ* типа „она *стала* (сидѣлаась, казалась, явилась) *вдовой*. Въ древности въ обоихъ случаяхъ стоялъ *именительный*: *княгини сподѣль вдовы лѣтъ 40*, *княгини бысть*

вдова. Затѣмъ въ извѣстную эпоху, сказалось наконецъ различіе энергичности глаголовъ, и результатъ былъ тотъ, что именительный *вдова* при глаголахъ менѣшой энергіи, *жила*, *умерла*, *сидѣла*, уже сталъ казаться неудобнымъ: малая энергичность глагола при большой (съ прогрессомъ языка все возроставшей) субстанціальности существительнаго уже недостаточно крѣпко связывала признакъ „*вдова*“ съ глаголомъ „*жила*“ тѣми узами одновременности, которыя требовались смысломъ фразы; согласованіе *вдова* съ подлежащимъ *княгиня*, тяготѣніе атрибута къ подлежащему перевѣшивало связь съ глаголомъ, и фраза рисковала быть понятою такъ, какъ будто „*вдова*“ есть *приложеніе* къ подлежащему, а не составная часть сказуемаго: „*княгиня-вдова жила 40 лѣтъ*“. Чтобы устранить это тяготѣніе признака *вдова* къ подлежащему и удержать его *при сказуемомъ*, нужно было разорвать узы, связующіе слово *вдова* съ подлежащимъ, т. е. нарушить согласованіе и изъ именительнаго перевести его въ какой-нибудь другой падежъ. Наиболѣе подходящимъ былъ, конечно, творительный образъ, который и сталъ здѣсь на мѣсто именительнаго: *княгиня жила вдовою* (по обращику: игуменъ отправился *посломъ*). При глаголахъ менѣшой энергіи такое превращеніе сначала не было столь настоятельно: глаголь, благодаря своей энергичности, достаточно крѣпко держитъ въ предѣлахъ своей сферы именительный предиката, чтобы его можно было вывести оттуда и отнести къ подлежащему въ качествѣ приложенія: „*княгиня была вдова*“, — оборотъ существующій до сихъ поръ (рядомъ съ творит.—*вдовою*), между тѣмъ какъ именительный въ „*княгиня жила вдова*“ уже невозможенъ.

Первые всходы оборота съ творительнымъ усматриваются уже въ нѣкоторыхъ церковнославянскихъ памятникахъ (но не въ Остроміровомъ Евангеліи, языку коего онъ совершенно чуждъ). Въ русскомъ языкѣ въ теченіе долгаго времени сохраняются равноправно оба оборота. Этой равноправности былъ положенъ предѣлъ только въ новомъ рускомъ, гдѣ, въ области глаголовъ менѣшой энергичности, нужно различать двѣ группы: одну (называемую, считавшуюся, слыть, стать въ смыслѣ превратиться и

пр.), при которой творительный обязателен въ той же мѣрѣ, какъ и при глаголахъ малой энергіи (уже нельзя сказать: слы-
веть *знатокъ*), и другую, куда входятъ глаголы *наибольшей*
энергичности (сдѣлаться, казаться, быть, стать въ смыслѣ нѣм.
werden), при которыхъ старый именительный все еще держится
частью рядомъ съ творительнымъ, частью—одинъ: „онъ былъ
купецъ“ и „онъ былъ купцомъ“, но—„онъ (есть) купецъ“ (а
не купцомъ, какъ въ польскомъ, где развитіе творит. „преди-
кативнаго“ достигло крайнихъ предѣловъ).

Творительный надежъ, который мы рассматриваемъ, можетъ
замѣнить собою не только именительный (въ именномъ сказуемомъ), но также винит. и родит. дополненія: я называю его
(вин.) братомъ, я не называю его (род. 1) братомъ. Первоначально
(въ памятникахъ наиболѣе архаическихъ по языку) здѣсь воз-
моженъ только винит. и родит., т. е. необходимо согласованіе
втораго надежа съ первымъ: называть *ее сестру*, не называть
ея сестры. Такъ въ Остромировомъ Еванг. и въ Савиной книгѣ.
Но въ другихъ церковнослав. памятникахъ уже появляется въ
этихъ случаяхъ творительный (напр. въ Супрасльской рукоп.).
Въ русскихъ памятникахъ такой творительный употребляется
сначала наравнѣ съ согласуемымъ надежомъ: „поставиша ѡек-
тиста *епископа* (вин.) Чернигову“, но—„нарекъ ю (вин.=ее)
дщерью себѣ (твор. вм. вин. дщерь).“

Невдаваясь въ дальнѣйшія подробности, которыя были бы
неудобны въ популярномъ изложеніи, укажемъ на общий смыслъ
разсмотрѣннаго явленія, на его психологическое значение въ
исторіи языка.

Въ тѣхъ случаяхъ, где оба оборота существуютъ рядомъ
(„онъ былъ офицеръ“ и „онъ былъ офицеромъ“), языкъ разли-
чаетъ ихъ не только формально, но и по значенію. Потебня
доказалъ, что первоначально такого различенія не было, и тво-
рительному долго не присваивалась специальная функция выра-
жать одни оттѣнки значенія, а именительному—другіе. Суть
явленія состоитъ отнюдь не въ стремленіи разграничить эти
оттѣнки, а въ общемъ стремленіи языка *дать перевѣсъ глаголь-*
ному сказуемому надъ именнымъ. Въ данномъ случаѣ это дости-

гаётся тѣмъ, что согласованіе предикативнаго имени (офицеръ) съ подлежащимъ (онъ) разрушается, и это имя переводится въ область несогласуемыхъ падежей, т. е. устраняется изъ сферы сказуемаго и превращается въ дополненіе. Въ силу этого, глаголъ „былъ“, игравшій подчиненную роль *связи*, сразу возвышается на степень *самостоятельнаго сказуемаго*. Въ „онъ былъ офицеръ“ сказуемое—составное „былъ офицеръ“, и глаголъ „былъ“—связка. Вся фраза имѣетъ какъ-бы два темпа—подлежащее и сказуемое, изъ коихъ второй (сказуемое) состоить изъ двухъ актовъ мысли, такъ что все предложеніе можетъ быть представлено въ видѣ трехъ тактовъ, примѣрно такъ: подлежащему, равному $\frac{1}{4}$, противопоставляется одинъ сложный членъ (сказуемое) изъ $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$. „Мысль здѣсь не останавливается на связкѣ *былъ* ($\frac{1}{8}$) и пользуется ею лишь для перехода отъ подлежащаго къ мыслимому въ немъ атрибуту“ (Изъ зап., 521—2). Иной характеръ усматривается въ оборотѣ съ творительнымъ“. Въ „онъ былъ офицеромъ“ все грамматическое содержаніе мыслится въ три одинаковые пріёма и можетъ быть сравнено съ тактомъ изъ трехъ четвертей: *былъ* есть не связка, а самостоятельное сказуемое; *офицеромъ* дополненіе къ нему, стало быть пѣчто мыслимое не въ подлежащемъ, а особо отъ него, несмотря на частное совпаденіе, и въ тоже время особо отъ сказуемаго“. (Изъ зап., 5 21). Вотъ именно это превращеніе глагола—связки въ самостоятельное сказуемое и образуетъ сущность явленія. Засимъ разъ новый оборотъ появился и получилъ ва языкѣ известное распространеніе, не вытѣснивъ вполнѣ старого оборота, то послѣдній приобрѣтаетъ новый смыслъ. Грамматико-психологическое сознаніе (не научное, а „инстинктивное“), что *былъ* въ „онъ былъ офицеръ“ есть связка, что предикативный атрибутъ „офицеръ“ составляетъ главную часть сказуемаго, невольно вызываетъ въ умѣ представленіе о томъ, что въ этомъ атрибутѣ выраженъ какой-то не то существенный, не то постоянный, или же въ данную минуту особенно важный признакъ подлежащаго. Но такие оттенки значенія этотъ старый оборотъ могъ получить только послѣ того, какъ рядомъ съ нимъ сталъ новый—съ творительнымъ: самостоятельность

глагольного сказуемаго (быть) въ этомъ послѣднемъ рѣзче оттѣнила собою подчиненную роль глагола въ старомъ оборотѣ. Разрывая связь предикативнаго атрибута (офицеръ) съ подлежащимъ (онъ), переводя его въ сферу дополненія и тѣмъ самымъ придавая большій вѣсъ глаголу (быть), новый оборотъ какъ-бы наталкиваетъ мысль на предположеніе, что атрибути, выраженный творительнымъ, не существенъ для подлежащаго, что если *N былъ* тамъ-то (офицеромъ), то онъ *можетъ быть* или *раньше былъ* другимъ (не-офицеромъ). Такой смыслъ новый оборотъ получилъ не сразу. Онъ развился въ немъ съ теченіемъ времени, благопріятствуемый внутренними свойствами оборота (самостоятельность глагола—сказуемаго), которая въ тоже время заставляли мысль одѣживать противоположныя свойства старого оборота и утилизировать его для выраженія соотвѣтственныхъ оттѣнковъ значенія.

Здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, Потебня, такъ сказать, подслушалъ сокровенное прозябаніе языка и обнаружилъ тѣ внутренніе процессы рѣчи, которые творять мысль.

VI.

Прилагательное гораздо больше существительного удерживается въ именительномъ падежѣ предикативнаго имени, въ особенности при глаголахъ меньшей энергичности: мы до сихъ поръ говоримъ „она жила *грустная*“, между тѣмъ какъ „жила *вдова*“ уже невозможно. Обязателенъ творительный прилагательныхъ при глаголахъ *средней* энергичности, каковы *слить*, *считаться*, *называться*: „онъ слыветъ *умнымъ*, *счастливымъ*“. При глаголахъ наибольшей энергіи (быть, казаться и др.) этотъ падежѣ далеко не такъ обыченъ, и нерѣдко предпочтеніе отдается именительному: „онъ былъ *веселъ*“, „онъ казался *уменемъ*“. Въ подобныхъ случаяхъ именит. падежѣ прилагательнаго въ безчленной формѣ выражаетъ тѣ-же оттѣнки, которые передаются творительнымъ существительныхъ.

Итакъ, прилагательное то идетъ въ ногу съ существительными, то отстаетъ отъ него.

Это различие обусловлено самой природою прилагательного.

Мы знаемъ, что прилагательное есть тотъ актъ мысли, которымъ мы апперцепируемъ признакъ, данный въ субстанціи. Ниже намъ придется еще разъ затронуть этотъ вопросъ; здѣсь же достаточно будетъ указать на то, что въ древности прилагательное, обозначая признакъ, данный въ субстанціи, могло намекать и на самую субстанцію, и съ этой стороны приближалось къ существительному. Съ теченiemъ времени все увеличивалось разстояніе между этими двумя частями рѣчи, и прилагательное теряло свойство указывать на субстанцію, между тѣмъ какъ субстанціальность существительного все болѣе развивалась. Вотъ почему при глаголахъ меньшей энергіи, гдѣ уже невозможенъ именительный существительный, прилагательное можетъ оставаться въ именит. пад., т. е. сохранять согласованіе съ подлежащимъ: субстанція, на которую намекаетъ прилагательное, такъ слаба, неопредѣлена, неиндивидуальна, что это согласованіе нисколько не мѣшаетъ намъ по прежнему мыслить данный атрибутъ въ связи съ глаголомъ (жила грустная), не заставляетъ нашу мысль забывать о предикативномъ значеніи прилагательного и непремѣнно относить его къ подлежащему въ видѣ приложенія (она, грустная, жила...), что наступаетъ при существительномъ (въ имен. п.) въ силу его субстанціальности (она жила вдова=она, вдова, жила...).

Но прилагательное имѣть еще одно этимологическое свойство, которое въ существительномъ усматривается лишь въ слабой степени: огромное большинство прилагательныхъ всегда можетъ быть по мѣрѣ надобности превращено въ нарѣчія: грустный—грустно, веселый—весело. Поэтому при глаголахъ меньшей энергіи, гдѣ обязательенъ творительный существительный, для прилагательного открывается другой исходъ—превратиться въ нарѣчіе, если удержаніе именительного почему-либо нежелательно: „она жила грустно, весело, счастливо“. Нарѣчіемъ легче и удобнѣе осуществляется здѣсь тотъ самый результатъ, который въ оборотахъ съ существительнымъ достигается замѣнною именительного падежа творительнымъ: сказуемое изъ составнаго становится простымъ, глагольнымъ, на мѣстѣ

согласуемаго именнаго предиката является несогласуемая часть рѣчи (нарѣчіе), и вся фраза выигрываетъ въ глагольности и единствѣ. Вотъ этимъ-то обстоятельствомъ и было заторможено распространеніе оборотовъ съ творительнымъ прилагательнымъ при глаголахъ менѣшой энергіи. Оборотъ „она жила *грустно*“ представляется и ненужнымъ, и неудобнымъ, потому что, кромѣ старого „она жила *грустная*“, возможенъ и удобенъ еще одинъ оборотъ „она жила *грустно*“. Иное дѣло—обороты съ глаголами большей энергіи. Здѣсь нарѣчія (въ положит. степ.) не годятся, ибо не могутъ—пока—выразить *результат*а дѣйствія, а показываютъ только его *качество*, обозначаютъ признакъ ему сопутствующій, а не слѣдующій за нимъ. Поэтому нельзя сказать: „она стала (казалась, слыла, была) *весело*“, и остается въ извѣстныхъ случаяхъ сохранять именительный (она стала, казалась грустна), въ другихъ, по примѣру существительныхъ, замѣнять его обязательнымъ или необязательнымъ творительнымъ: „она слыла, называлась *веселю*“, „казалась грустною“ и т. д.

Появленіе нарѣчій въ указанныхъ случаяхъ на мѣсто прилагательного есть одно изъ многихъ проявленій все того же движенія въ сторону глагольности сказуемаго. Такой же смыслъ имѣеть распространеніе категоріи нарѣчія на счетъ прилагательного еще въ двухъ сферахъ: 1) въ сравнительной степени и 2) въ причастії.

Великорусскія и общерусскія сравнительныя степени прилагательныхъ суть уже нарѣчія, а не прилагательныя, и фразы „онъ *больше* меня“; „онъ былъ *лучше* ея“, по своему чину, по глагольности сказуемаго, стоятъ на одномъ уровнѣ съ „онъ жилъ *весело*“ (при чемъ сравнительная степень даетъ нарѣчію возможность употребляться и при глаголахъ большей энергіи), между тѣмъ какъ малорусское „вицъ *бильшій* видъ мене“, гдѣ сохраняется прилагательное въ сравн. степ., болѣе архаично и подходитъ къ типу: „онъ жилъ *грустный*“.

Дѣепричастія суть причастія, переведенные изъ категоріи прилагательного въ категорію нарѣчія. Ихъ возникновеніе есть несомнѣнныій признакъ усиленія глагольности рѣчи. Выше мы видѣли, какимъ образомъ дѣепричастіе, становясь на мѣсто

старого причастія, превращаетъ глаголь-связку въ самостоятельное сказуемое. При глаголахъ менѣшей энергіи оно замѣняетъ творительный, подобно обыкновенному нарѣчію: „она сидѣла грустя“.

Стремленія языка къ усиленію глагольности проявлялись постепенно, переходя исподволь отъ одной сферы къ другой. Первые шаги въ этомъ направленіи были сдѣланы уже въ глубокой древности, и однимъ изъ наиболѣе раннихъ завоеваній глагола было созданіе *инфінитива* (неопредѣленного наклоненія), которому посвященъ въ „Запискахъ по русской грамм.“ обширный отдѣлъ (342—443). Не имѣя возможности передать здѣсь содержаніе этого превосходнаго изслѣдованія, ограничимся изложеніемъ общаго взгляда Потебни на неопредѣл. наклоненіе,—взгляда, расходящагося съ возрѣніемъ нѣкоторыхъ авторитетовъ, какъ напр. Боппа и Як. Гrimma.

Давно уже доказано, что неопределенное накл. возникло изъ имени существительного и представляетъ собою какъ-бы окаменѣвшую форму извѣстнаго (у насть—дательного) падежа. Дальнѣйшее распространеніе этого совершенно вѣрнаго положенія привело однако къ ложному пониманію инфинитива—какъ отлагольнало имени существительнало. Ошибка состоитъ въ томъ, что современному инфинитиву приписываются признаки, которые онъ имѣлъ нѣкогда, въ глубокой древности, и которые онъ давнымъ давно утратилъ. Это все равно, что опредѣлять бабочку какъ куколку на томъ основаніи, что она изъ куколки развивается, или современныя письмена—какъ гіероглифи, предполагая, что они возникли нѣкогда изъ послѣднихъ. Въ дѣйствительности неопределенное накл. перестало быть именемъ уже въ глубокой доисторической древности, потерявъ отличительные признаки имени (склоненіе, число, родъ), и превратилось сперва въ особую часть рѣчи, занимающую середину между именемъ и глаголомъ (какъ причастіе), а затѣмъ все болѣе вовлекалось въ сферу глагольности, пока наконецъ не впитало въ себя характерныхъ глагольныхъ свойствъ—быть сказуемымъ, обозначать дѣятельность въ ея теченіи, намекать на лицо. Казалось бы, что знать то же самое, чтб знаніе. Но стоитъ только

взять эти формы въ живой рѣчи, чтобы сейчасъ же уловить грамматическую разницу между ними. „Хочу знать“ есть составное сказуемое изъ *хочу*—родъ связки и *знать*,—формы которая, впервыхъ, представляетъ цѣль хотѣнія не какъ *вещь* (субстанцію), постороннюю субъекту (я), но какъ *дѣятельность* или *энергію*, на которую направлено хотѣніе субъекта, а, во-вторыхъ, явственно относитъ эту дѣятельность къ грамматическому *лицу* подлежащаго: въ „хочу знать“ инфинитивъ *знать* указываетъ на 1-е лицо и можетъ быть разложенъ такъ: *хочу*, чтобы я *знал*, въ „хочешь знать“ онъ указываетъ на 2-е лицо и т. д. Теперь замѣнимъ въ нашемъ примѣрѣ неопредѣл. наклоненіе существительнымъ: „хочу *знания*“. Весь строй фразы измѣнится. Здѣсь *хочу*—уже не связка, а самостоятельное сказуемое, *знания*—не составная часть сказуемаго, а дополненіе, никакого отношенія къ лицу не имѣющее и указывающее не на дѣятельность подлежащаго, а на (фиктивную) субстанцію, постороннюю ему. *Знаніе* есть именно *существительное отлагольное*, *знать* *коуда-то* было таковымъ, но давно уже перестало имѣть быть. Если же желательно дать ему такое определеніе, въ которомъ бы заключалось указаніе на происхожденіе этой формы, то можно бы назвать его существительнымъ *отлагольеннымъ* (а не отлагольнымъ).

Изъ вышесказанного видно, что *отношеніе къ лицу* образуетъ свойство неопределенного накл. и вмѣстѣ важнѣйшее основаніе его глагольности. Этому нисколько не противорѣчить то, что неопределенное наклоненіе не имѣетъ личныхъ окончаній и, взятое отдельно, не даетъ возможности отнести его къ определенному лицу. Въ новыхъ языкахъ личная окончанія нерѣдко стушевываются, но это не служитъ препятствиемъ признавать напр. французскія *aime*, *aimes*, *aime* (2-е только на письмѣ, для глазъ, отлично отъ 1-го и 3-го) за формы, имѣющія отношеніе къ лицу, т. е. за глаголы, хотя для определенія того или другаго лица необходимо присоединить мѣстоименіе, которое и беретъ на себя функцию отсутствующаго окончанія: *j'aime*, *tu aimes*, *il aime*. Такъ и въ нашихъ прошедшихъ временахъ: я взялъ, ты взялъ, онъ взялъ. Вообще для глагола существенна

не столько способность обозначать определенное лицо, сколько способность относиться къ какому-быто ни было, лицу, известному или неизвестному. Неопределенное наклонение, взятое отдельно, непременно относится къ лицу, но только неизвестному, необозначенному. Чтобы оно выяснилось, нужно взять неопределенное накл. въ предложении. Въ „хочу знать“ оно есть то самое, къ которому относится связка *хочу*: оно есть лицо подлежащаго. Такое неопределенное наклонение Потебня, вслѣдъ за Гrimмомъ, называетъ *субъективнымъ*, въ противоположность другому, *объективному*, котораго лицо указано не подлежащимъ и не связкою, а дополнениемъ: „прошу васъ прійти“. Здѣсь „прійти“ значить „чтобы вы пришли“.

Изъ исторіи русскаго инфинитива, столь обстоятельно и глубоко изслѣдованной Потебнею, мы остановимся здѣсь только на одной чертѣ, на которую впрочемъ мы уже указывали выше; но теперь, послѣ всего, что было сказано о значеніи творительного, нарѣчій, дѣепричастій, эта черта получитъ надлежащее освѣщеніе. Да припомнить читатель вышеуказанные старинные обороты въ родѣ „сѣде княжа“, чemu въ современномъ языкѣ отвѣчаетъ оборотъ „сѣлъ княжить“. Движеніе мысли, осуществившееся въ переходѣ отъ стараго оборота къ новому, совершенно аналогично тому, которое мы отмѣтили, указывая на различіе между старымъ „сѣде вдова“ и новымъ „сидѣла вдовою“. Какъ тамъ, такъ и здѣсь, прежняя согласуемая часть предиката (причастіе *княжа*, существ. *вдова* въ им. п.) замѣняется формою несогласуемою (неопредел. *княжитъ*, твор. несогласующійся *вдовою*). Разница только въ томъ, что въ оборотѣ съ творительнымъ сказуемое перестало быть составнымъ, и глаголъ изъ связки сдѣланъ настоящимъ предикатомъ, между тѣмъ какъ въ „сѣлъ княжить“ сказуемое остается составнымъ. Но результатъ процесса оказывается въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ-же—развитіе *главности сказуемаго*, потому что замѣна причастія, формы именной, неопределеннымъ наклоненіемъ, формою, не сохранившую въ себѣ ничего именного и совершенно отлаголеною, есть конечно цѣнныій вкладъ въ дѣло отлаголенія сказуемаго.

Вообще всѣ разсмотрѣнныя процессы, равно какъ и нѣкоторые другіе, которыхъ мы не коснулись здѣсь, можно классифицировать вмѣстѣ и опредѣлить ихъ психологическую сущность—какъ стремленіе языка сосредоточить предикативную силу въ глаголѣ. Изъ анализа явленій, сюда относящихся не трудно уразумѣть, что, по мѣрѣ развитія этого стремленія и достижения соотвѣтственныхъ результатовъ, уменьшается число согласуемыхъ частей предложения и увеличивается на ихъ счетъ число несогласуемыхъ. Такъ, несогласующія съ подлежащимъ творительный (вдовою) сталъ на мѣсто прежняго именительного (вдова), который согласовался съ подлежащимъ; на мѣсто прилагательного стало нарѣчіе; причастіе замѣнено неопределеннымъ наклоненіемъ или, въ другихъ случаяхъ,—дѣепричастіемъ согласуемость есть признакъ грамматической функции, называемой аттрибутивностью, той, стало быть, которой представитель служить преимущественно прилагательное. Поскольку существительное сохраняетъ способность быть аттрибутомъ и поэтому согласоваться въ падежѣ съ опредѣляемымъ словомъ (напр. въ *приложеніи*: Петръ, царь великий...), постольку оно еще сохраняетъ слѣды своей былой близости къ прилагательному. И наоборотъ, поскольку прилагательное можетъ еще употребляться какъ подлежащее и дополненіе, т. е. обозначать субстанцію, постольку оно еще сохраняетъ тѣнь своей прежней близости къ существительному. Чѣмъ глубже будемъ мы опускаться въ древность, тѣмъ болѣе будетъ уменьшаться разстояніе между этими двумя частями рѣчи, какъ со стороны чисто формальной, такъ и со стороны ихъ грамматическихъ функций въ предложеніи. По направленію къ намъ это разстояніе все увеличивается. И когда мы видимъ, что существительное, взятое какъ предикативный аттрибутъ (она сидѣла вдовою), перестаетъ согласоваться съ подлежащимъ (она сидѣла вдовою), то мы заключаемъ, что его аттрибутивная гибкость пошла на убыль, что оно замѣтно теряетъ способность играть роль прилагательного, выражать признакъ, усматриваемый въ другомъ предметѣ. Оно все рѣшительнѣе пріурочивается къ субстанціальности; съ тѣмъ вмѣстѣ прилагательное пріурочивается къ аттрибутивности.

Эта эволюция существительного по направлению къ наибольшей субстанциальности и прилагательного—къ наибольшей атрибутивности есть, какъ показалъ Потебня, процессъ, идущій въ ногу съ развитіемъ глагольности предложения.

VII.

Былая близость прилагательного къ существительному до сихъ поръ сказывается въ нѣкоторыхъ оборотахъ, напр.—когда прилагательное выступаетъ въ роли подлежащаго или дополненія. Изъ числа такихъ оборотовъ нужно исключить тѣ случаи, гдѣ прилагательное превратилось уже въ настоящее существительное (напр. *подушиное*—подать), а равно и тѣ, гдѣ подразумѣвается существительное. Но Потебня во многихъ слушающихъ рѣшительно высказывается противъ такого подразумѣванія, какъ насилия надъ языкомъ, и приводить примѣры, гдѣ настоящее прилагательное само по себѣ выступаетъ въ роли подлежащаго и дополненія. Таковы выраженія: „*богатъ* шелъ въ пиръ, а *убогъ* брелъ въ миръ“¹⁾, „и *глупъ* молвить слово въ ладъ“, „*глупъ* да *лынивъ* одно дважды дѣлаетъ“. Но мнѣнію Потебни, при всѣхъ этихъ прилагательныхъ (богатъ, убогъ, глупъ) не слѣдуетъ подразумѣвать якобы опущенного „человѣка“, что ясно видно изъ выраженія „*битъ небитаю* на рукахъ носить“. „Кто это *битъ*, *небитъ*? Опять человѣкъ? Почему же непремѣнно такъ, когда знаемъ, что выраженіе взято изъ сказки о лисѣ и волкѣ, гдѣ волкъ битъ и везетъ, а лиса небита и ёдетъ? И опять почему же *битъ* непремѣнно волкъ, когда знаемъ, что цѣнность такихъ выраженій именно и состоитъ въ ихъ способности обобщаться? Здѣсь соль рѣчи именно въ томъ, что субстанція, къ которой относится данный признакъ, предполагается существующею, но никакъ не опредѣляется (кромѣ грамматического рода): кто бы ни былъ битъ, но онъ небитаго везетъ“. (Изъ зап., 98). Вотъ именно прилагательное въ старину и обладало въ гораздо большей степени, чѣмъ нынѣ, этою способно-

¹⁾ Т. е. въ *миръ*. Потебня писалъ оба слова (*миръ* и *міръ*) одинаково черезъ *и*.

стью выражать неопределенную субстанцию. Его дальнейшая эволюция состоит въ относительной потерѣ этой способности.

Изслѣдованіе исторіи прилагательного съ этой точки зре-
нія должно было войти въ третью часть „Записокъ по русской грамматикѣ“, которая осталась въ рукописи, не вполнѣ готовой къ печати. Общее понятіе о содержаніи этого замѣчательного труда, къ сожалѣнію не получившаго окончательной отдѣлки, даетъ намъ статья г. Харціева „Посмертные материалы А. А. Потебни“, помѣщенная въ 4-мъ томѣ „Сборника Харьковскаго Историко-филолог. Общества“ (стр. 75 и сл.). „Отношеніе мысли къ слову“, говоритъ г. Харціевъ, составляетъ фонъ всей работы, основной задачей которой служить вопросъ „откуда и куда мы идемъ“ въ смыслѣ прогресса мысли“.

Сопоставляя свѣдѣнія, сообщаемыя г. Харціевымъ, съ тѣми краткими указаніями, которыя мы находимъ въ автобіографической запискѣ Потебни, приложенной ко второму тому „Исторіи русской этнографіи“ г. Шипина, мы можемъ, не впадая въ грубую ошибку, въ слѣдующемъ видѣ восстановить одну изъ основныхъ и важнѣйшихъ идей покойнаго, развитіе и обоснованіе которой занимало его въ послѣдніе годы жизни.

Если существительное, удаляясь отъ прилагательного, выигрываетъ въ субстанциальности, то это не значитъ, что категорія субстанції пріобрѣтаетъ съ развитіемъ языка все больше и больше значенія въ процессѣ нашего мышленія. Напротивъ: это значитъ, что умственный прогрессъ ведетъ нашу мысль въ обратномъ направленіи—отъ господства категоріи субстанції къ ея устраненію. И въ самомъ дѣлѣ, эта форма мысли въ старину воплощалась не только въ существительномъ, но и въ прилагательномъ, между тѣмъ какъ атрибутивность древнихъ существительныхъ вовсе не была отрицаніемъ ихъ субстанциальности. Въ чёмъ собственно состоитъ атрибутивность существительного? Чѣо происходитъ въ сознаніи, когда признакъ, усмѣтрѣнныи въ предметѣ, выражается посредствомъ имени существительного? Этотъ признакъ понимается какъ известная субстанція, находящаяся въ другой субстанціи. Такой приемъ мышленія и лежитъ въ основѣ такъ называемыхъ *приложений*:

Петръ, царь великий, Владимиръ—Солнышко, Дмитрій—Грозный Очи. Въ субстанціи „Петръ“ усматривается присутствіе извѣстнаго признака, который въ свою очередь схватывается мыслию какъ особая субстанція (царь). Въ эпоху, когда прилагательная имѣли большую или меньшую субстанціальность (хотя бы такую какъ *битъ, небитъ, богатъ, убогъ* въ вышеприведенныхъ пословицахъ „битъ небитаго везетъ“ и пр.), признакъ, имъ выраженный, понимался очень близко къ тому, какъ если бы онъ былъ выраженъ существительнымъ, такъ что напр. *бѣлый камень* было почти равносильно выражению „камень—бѣлизна“, а это послѣднее было основано на томъ же пріемѣ мысли, на которомъ зиждятся приложенія и эпитеты въ родѣ „Владимиръ—Красное Солнышко“. Когда наконецъ прилагательная потеряли эту субстанціальность, тогда обозначился великий переворотъ, происшедшій въ мысли: слово *бѣлый* перестало выражать субстанцію, находящуюся въ „камнѣ“ и превратилось въ особую форму мысли, способную обозначать признакъ, неимѣющій своей субстанціальности, несуществующій отдельно отъ предметовъ, въ которыхъ онъ усматривается. Итакъ, отдѣленіе и эволюція прилагательного, сосредоточеніе въ немъ чистой атрибутивности есть, такой процессъ въ исторіи мысли, который приводитъ къ „*устраненію изъ языка и мысли субстанцій, ставшихъ мнимыми*“.

Создавъ особую грамматическую категорію—*прилагательного*, языкъ ограничилъ болѣе тѣсными предѣлами—*существительного* сферу, занимаемую въ нашемъ сознаніи категоріей *субстанціи*. Въ исторіи развитія самихъ существительныхъ тотъ-же процессъ устраненія мнимой субстанціи обнаруживается въ превращеніи существительныхъ нѣкогда конкретныхъ въ отвлеченные. Въ эпоху, когда могли сказать „*камень-бѣлизна*“ вместо „*бѣлый камень*“, *бѣлизна* понималась какъ субстанція конкретная, подлинная, какъ вещь. Нынѣ она понимается, какъ фиктивная, а потому и не можетъ уже служить выражениемъ атрибута. Не трудно видѣть, что этотъ переходъ отъ конкретнаго пониманія *бѣлизны, доброты, доломоты, ширины, истины* и т. д. къ отвлеченному есть своего рода *устраненіе мнимой субстанціи*.

Тотъ-же процессъ Потебня клалъ въ основу развитія „безличныхъ“ (бессубъектныхъ) предложеній (свѣтаетъ, болитъ, тошнить), которыя онъ считалъ явленіемъ сравнительно новымъ (неархаическимъ).

Процессъ устраненія субстанціи, ставшей мнимой, знаменуетъ собою ту самую эволюцію языка и мысли, которая сказывается въ вышеразсмотрѣнномъ стремлениі къ развитію глагольности рѣчи. Мысль человѣческая, нѣкогда представлявшая всѣ вещи и процессы, какъ субстанціи, постепенно покидаетъ эту категорію и пріучается отливать полученные впечатлѣнія въ форму признака и энергii. Эта эволюція мысли, открытая Потебнею, есть сокровенная пружина той невидимой метаморфозы умовъ, которая явно, исторически документально обнаруживается въ смѣнѣ міросозерцаній, въ переходѣ, напр., отъ пониманія болѣзни, гнѣва, любви, какъ вещей, существъ, находящихся въ человѣкѣ, къ ихъ пониманію какъ свойствъ и процессовъ—отъ теорій, въ силу коихъ напр. огонь или число представлялись субстанціями (Гераклидъ, Пієагоръ), къ новому взгляду на нихъ, какъ на процессъ (огонь) или отношеніе между вещами (число). Корни сознательного мышленія (миѳологического, метафизического, научнаго) глубоко лежатъ въ несознаваемыхъ процессахъ языка. Воззрѣнія, вѣрованія, теоріи суть какъ бы видимыя движенія волнъ на поверхности психіи, въ сознаніи,— управляемыя незримыми движеніями, происходящими въ глубинѣ ея, въ сферѣ обыденнаго мышленія, созидаемаго языкомъ и въ немъ воплощающагося. Такъ современное состояніе языка, характеризующееся субстанціальностью существительного—подлежащаго и сосредоточеніемъ предикативности въ глаголѣ, образуетъ психологическое основаніе нашего современного теоретического мышленія, отмѣченаго въ одно и то же время характеромъ метафизичности и научности. Новая метафизика, стремясь прозрѣть сущность вещей, скрытую за явленіями, представляетъ собою какъ бы сосредоточеніе умственныхъ усилий въ области субстанціальности, подготовленной развитіемъ языка. Научныя направленія нашего времени, не противорѣча въ принципѣ субстанціальности вещей, образуютъ только другой полюсъ

тѣхъ-же умственныхъ процессовъ, сосредоточиваясь въ сферѣ признаковъ, процессовъ, энергии („явленій“). Метафизикъ мыслить въ направленіи, исходная точка котораго есть въ языкѣ существительное—подлежащее, ученый—неметафизикъ мыслить въ направленіи, исходная точка котораго есть въ мышлениі грамматическомъ глаголъ—сказуемое. Въ самой положительной наукѣ эти двѣ грамматическія категории лежатъ въ основѣ понятій *причины* и *следствія*, *матеріи* и *силы*. Развитіе понятія *силы* насчетъ понятія *матеріи*, наблюдаемое въ современномъ научномъ мышлениі, имѣть свои психологические устои въ эволюції новыхъ языковъ въ направленіи все большей глагольности предложенія. На тѣхъ же устояхъ зиждется и поворотъ въ мышлениі явленій психическихъ, начиная съ языка,—переходъ отъ идеи ихъ субстанціальности къ воззрѣнію на нихъ, какъ на процессы или силы.

Таковы тѣ грандиозныя перспективы, которыхъ открывалъ Потебня въ своихъ изслѣдованіяхъ и лекціяхъ. Издание третьей части „Записокъ по русской грамматикѣ“, несмотря на отсутствіе окончательной отдѣлки, безспорно, составитъ эпоху—не въ одной только „Исторіи русскаго языка“. Трудъ этотъ будетъ важнымъ вкладомъ въ психологію мысли и дастъ много нового для „теоріи познаванія“, для пониманія эволюціи мышлениія научнаго и философскаго.

VIII.

Синтаксические труды Потебни, сущность которыхъ мы изложили выше, поставили настѣ лицомъ къ лицу съ вопросомъ о происхожденіи и эволюціи отвлеченного мышления. Одновременно съ этими глубокими изслѣдованіями Потебня вель и другія, столь же глубокія, направленные на изученіе тѣхъ сторонъ языка, которыхъ лежать въ основаніи „мышления образами“, т. е. поэзіи. Исходная точка этихъ изученій была дана опять таки В. Гумбольдтомъ; ея основанія были разработаны до извѣстной степени другими учеными, но Потебня первый далъ строго-научную и разработанную въ подробностяхъ эволюціонную теорію

поэзії и со свойственнымъ сму даромъ широкаго обобщенія связалъ явленія языка въ его развитіи съ фактами исторіи поэтическихъ формъ и съ психологическими тайнами художественаго творчества. Къ сожалѣнію, этотъ огромный трудъ былъ обработанъ только устно—въ тѣхъ удивительныхъ лекціяхъ по „теоріи словесности“, которая навсегда останутся въ памяти учениковъ покойнаго, какъ впечатлѣніе ослѣпительно-яркаго свѣта, какъ неизгладимое воспоминаніе о высокомъ умственномъ наслажденіи, объ откровеніи научнаго творчества, которое развертывалось тутъ-же, въ аудиторіи, и неудержимо увлекало слушателя въ свой потокъ. (См., въ 4-мъ томѣ Сборника Харьк. Историко-фил. Общ. воспоминанія г. Горнфельда объ этихъ лекціяхъ). Потебня не успѣлъ обработать этихъ лекцій для печати. Остались только, по словамъ г. Харціева, „замѣтки для себя“, черновые материалы. Современемъ, они будуть, конечно, изданы и, безъ сомнѣнія, дадутъ ключъ для полнаго пониманія другаго обширнаго труда Потебни—„Объясненіе малорусскихъ и сродныхъ пѣсенъ“,—труда, который имѣетъ непосредственное отношеніе къ исторіи и теоріи поэзіи, но въ настоящее время, безъ необходимыхъ поясненій, на которыхъ Потебня былъ такъ щедръ въ своихъ лекціяхъ и такъ скончавъ въ печати, не можетъ быть оцѣненъ и утилизированъ съ этой стороны надлежащимъ образомъ.

Познакомить публику съ воззрѣніями Потебни на происхожденіе и эволюцію поэзіи, на ея отношеніе съ одной стороны къ языку, а съ другой къ мышленію отвлеченному („прозаическому“) можно будетъ только послѣ того, какъ будутъ изданы черновые материалы „по теоріи словесности“. Пока мы можемъ только изложить въ немногихъ словахъ основы этихъ воззрѣній Потебни и указать направленіе, въ которомъ онъ вѣль свои изысканія.

Основанія теоріи были намѣчены Потебнею 30 лѣтъ тому назадъ въ уже извѣстномъ намъ сочиненіи „Мысль и языкъ“.

Да припомнитъ читатель то, что выше было сказано о „внутренней формѣ“ слова. Пока она жива, пока „образъ“, заключенный въ словѣ, сознается и различается отъ содержанія

(значенія), до тѣхъ поръ слово является какъ бы поэтическимъ произведеніемъ. Его созданіе есть прототипъ или элементарная, зачаточная форма поэтическаго (и вообще художественнаго) творчества. Между такимъ словомъ (*удавъ; мышь*—при сознаніи, что это значитъ собственно „воръ“; *жалованье, верста*—о высокоросломъ человѣкѣ и т. д.) и произведеніемъ искусства можно провести полную параллель. Въ томъ и другомъ ясно различаются три аналогичныхъ элемента:

1) *Внешняя форма*. Въ словѣ—это членораздѣльные звуки; въ статуѣ—мрамортъ, известнымъ образомъ обработанный; въ картинѣ—краски и т. д.

2) *Внутренняя форма* или *образъ*. Въ словѣ—это напр. „воръ“—для понятія мыши, „верста“—о высокомъ человѣкѣ и т. д. Въ статуѣ—напр. образъ женщины съ мечомъ и щитами.

3) *Содержаніе*. Въ словѣ—это его *значеніе*: известное животное для слова „мышь“, известная змѣя — для слова „удавъ“. Въ статуѣ—это ея *идея*, въ данномъ случаѣ—правосудіе.

Образъ (изваянныи, нарисованный красками, описанный въ словесномъ произведеніи искусства, выраженный музыкальными звуками) самъ по себѣ еще не составляетъ содержанія художественнаго произведенія: содержаніемъ служить *идей*; *образъ* только указываетъ на содержаніе, наводить на него, служить способомъ его *представленія*. Такъ точно и въ словѣ: *образъ*, напр. *жалованье*, т. е. нѣчто пожалованное (въ знакъ любви, срав. *жаловать*—*любить*), *подарокъ*, не составляетъ значенія (содержанія) этого слова и только является однимъ изъ способовъ представлять это значеніе, которое—вовсе не „подарокъ“, а „законное вознагражденіе“. Но то же самое значеніе уже иначе *представлено*—посредствомъ другаго образа—въ латинскомъ *pensio*, т. е. какъ нѣчто такое, что отвѣшивается, еще иначе въ лат. *appuntum* (то, что отпускается на годъ) и опять иначе во франц. *dage* (залогъ, ручательство). Значеніе всѣхъ этихъ словъ—одно; способы изображенія—различны, а потому каждое изъ нихъ „направляетъ мысль“ иначе. („Мысль и Яз.“, стр. 178). Всѣ они ведутъ къ одной и той же цѣли, но разными путями.



Уже въ сочиненіи „Мысль и Языкъ“ (глава X) Потебня про-
вель эту аналогію между словомъ (съ живою внутреннею формою)
и художественнымъ произведеніемъ и, исходя изъ идей Гумбольдта,
намѣтилъ, такъ сказать, программу будущихъ изслѣдованій въ
области исторіи и теоріи поэзіи. Эта программа и была выполнена
въ лекціяхъ по „теоріи словесности“. Правильнѣе можно
было бы озаглавить ихъ такъ: чтенія объ эволюціи поэтиче-
скихъ формъ изъ ихъ прототиповъ, заключенныхъ въ языкѣ.
Переходными ступенями отъ слова съ живымъ образомъ къ
пѣснѣ, сказкѣ, поэмѣ и т. д. служать „эпитеты“ и „реториче-
скія фигуры“. Ихъ анализу и раскрытию ихъ значенія въ эво-
люціи поэтическаго творчества былъ посвященъ покойнымъ ученымъ
обширный курсъ, въ которомъ „реторические“ тропы и
фигуры являлись предметомъ не схоластического и догматиче-
ского изложенія, а исторического и психологического изслѣ-
дованія.

Лекціи по „теоріи словесности“ были созданіемъ цѣлой
науки — эволюціи и психологіи поэтическаго творчества въ
языкѣ и въ искусствѣ. Здѣсь глубоко захватывались высшіе во-
просы объ отношеніяхъ поэзіи къ миѳу и мышленію отвлеченному (научному и философскому); здѣсь закладывались прочныя
основы научной эстетики, открывались широкіе горизонты мы-
сли,—это былъ огромный трудъ великаго ума, къ сожалѣнію,
почти потерянный для ученаго міра и публики, потому что со-
стояніе сохранившихся матеріаловъ таково, что ихъ изданіе не
дастъ возможности возстановить все богатство идей и всю силу
творчества, вложенныхъ покойнымъ въ эти изученія.

Заключаю. Если мы будемъ имѣть въ виду только два со-
чиненія Потебни—„Мысль и языкъ“ и „Изъ записокъ по русс.
грамм.“, то на вопросъ: „что собственно сдѣлалъ и открылъ
Потебня въ сферѣ знанія психологического и философскаго?“—
мы отвѣтимъ такъ:

Въ сочиненіи „Мысль и языкъ“ онъ далъ оцѣнку и кри-
тику воззрѣній В. Гумбольдта на языкъ и, отправляясь отъ ос-
новныхъ положеній этого мыслителя, развилъ психологическую

теорію языка, какъ силы, творящей и преобразующей мысль, при чёмъ онъ установилъ нѣкоторыя изъ тѣхъ положеній или точекъ зрења, которыя впослѣдствіи были вновь установлены въ Германіи, какъ нѣчто совершенно оригинальное. Стоитъ только сравнить „Мысль и языкъ“ напр. съ „Principien der Sprachengeschichte“ Hermann Paul, чтобы убѣдиться въ этомъ,—какъ равно и въ томъ, что эта превосходная книга въ нѣкоторыхъ частяхъ была бы глубже и разностороннѣе, если бы авторъ былъ знакомъ съ аналогичнымъ произведеніемъ Потебни.

2) Въ „Зап. по русс. Грам.“ Потебня проникъ въ психологію и эволюцію языка, такъ глубоко, какъ никогда еще не проникалъ ни одинъ ученый, даже самъ Як. Гриммъ, и результатомъ этого проникновенія было открытие *измѣняемости предложения*, опредѣленіе того пути, по которому идетъ мысль человѣческая, и *направленія*, въ которомъ она движется, именно—въ сторону все большаго развитія *лагодъности сказуемаго и ограниченія категоріи субстанціальности*.

Это открытие такъ велико, что—если бы Потебня писалъ напр. по нѣмецки—его имя давно уже стояло бы рядомъ съ именами великихъ ученыхъ XIX вѣка, и возникла бы цѣлая литература комментаріевъ, популяризаций, приложенийъ его открытій къ различнымъ смежнымъ сферамъ знанія и т. д.

Безспорно,—такая литература современемъ и возникнетъ заграницей, когда труды Потебни будутъ переведены. Вліяніе нашего ученаго на западно-европейскую науку будетъ, безъ всякаго сомнѣнія, очень значительно,—и его имя будетъ по праву передано грядущимъ вѣкамъ, какъ одно изъ славнѣйшихъ именъ науки.

Д. Овсяніко-Куликовскій.



жены Гардусбюссе и Киркене в Скандинавии. Видимо, это было в то время самое распространённое оружие в Европе. Оно имело форму копья с широким лезвием, которое было изогнуто в виде полумесяца. Копьё было сделано из дерева и обмотано кожей. На кончике копья был установлен острий металлический наконечник.

Лидето II считается первым королём Швеции, который начал использовать копьё в бою. Он родился в 960 году в городе Гётеборг и умер в 1016 году в Бернхольме. Он был сыном короля Гардуса и внуком короля Гарда I. Лидето II был известен своим воинским характером и способностью вести успешные войны. Он также был известен тем, что вёл войска в походы против викингов на западе Европы.

Лидето II был женат на королеве Гунде, которая была дочерью короля Гарда I. У них было пять детей: трое сыновей и две дочери. Сыновьями Лидето II были король Гард II, король Гард III и король Гард IV. Дочерьми были королева Гунда и королева Гунда. Лидето II был женат на королеве Гунде, которая была дочерью короля Гарда I. У них было пять детей: трое сыновей и две дочери. Сыновьями Лидето II были король Гард II, король Гард III и король Гард IV. Дочерьми были королева Гунда и королева Гунда.

Лидето II умер в 1016 году в Бернхольме.